

Павел I

Вхождение в тему

Павловское царствование, как никакое другое в истории российского самодержавия, долгое время было окутано плотной завесой молчания, изъято из гласного исторического освещения, став преимущественно предметом устного потаенного предания. Формула забвения содержалась уже в знаменитой декларации Манифеста 12 марта 1801 г., возвестившего воцарение Александра I, о его намерении "управлять ... по законам и сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей". Стало быть, непосредственно следовавший за тем период царствования ее сына — отца нового императора как бы вычеркивался из сознания современника, упразднялся как историческая реальность.

В немалой мере этому способствовали, конечно, и весьма щекотливые обстоятельства внезапной кончины до того вполне здорового Павла I. "Главным образом, по этой причине, — подчеркивал историк павловского времени М. В. Ключков, — в России в течение нескольких десятилетий не было специальных работ, посвященных царствованию Павла во всей его совокупности". На протяжении XIX в. оно фактически было признано государственной тайной. Все столетие действовали строжайшие цензурные запреты в отношении не только трагедии 11 марта 1801 г., но и павловской эпохи в целом, особенно если дело касалось широкой читательской аудитории. Запреты эти, несколько ослабленные в 1901 г. (в частности, в связи с выходом фундаментального труда о Павле официального историка Н. К. Шильдера), были отменены, да и то не полностью, лишь после 1905 г. По точному определению поэта, критика и историка литературы В. Ф. Ходасевича, глубоко интересовавшегося павловской эпохой, "правительство наше целое столетие ревниво оберегало память императора Александра Павловича в ущерб памяти его

отца".

Как бы то ни было, в результате такого положения вещей невольно складывалось впечатление о павловском царствовании как о некоем историческом провале, когда, по словам другого крупного историка Е. С. Шумигорского, "государственная жизнь России словно бы остановилась на четыре года", — что было особенно заметно на фоне интенсивного изучения, начиная с 1860-1870-х гг., екатерининского и александровского царствований, о которых к началу XX в. сложилась уже обширная историческая литература.

Снятие цензурных запретов не привело, однако, к торжеству исторической истины. Аномалия в развитии "павловской" историографии, когда после длительного молчания на книжный рынок вдруг хлынул целый поток самых разнородных публикаций: от злых иностранных памфлетов до сокровенных архивных документов, обернулась тем, что историческая наука начавшегося столетия оказалась попросту не подготовленной к изучению павловской эпохи и к освоению всего многообразия новой исторической информации. Тем более что на поверхность всплыло множество мемуарно-эпистолярных свидетельств, вышедших из тех кругов русского общества рубежа XVIII-XIX вв. (столичного дворянства, военно-придворной знати, самих участников заговора), которые были острее всего задеты павловским режимом и заинтересованы в его всяческой компрометации. Естественно, что эти свидетельства были сосредоточены на самых темных сторонах правления Павла и что они вбирали в себя смутные слухи, невероятные подробности, иногда чисто легендарного и анекдотического свойства. Как верно было замечено тем же Е. С. Шумигорским, "анекдот в этом случае оттеснил историю", а "история таким образом превратилась в памфлет".

В самом деле, именно такого рода обличительные свидетельства, не прошедшие горнила исторической критики, взятые, так сказать, на веру, в значительной степени определили тональность освещения Павла даже в трудах крупных, авторитетных ученых того времени, принадлежавших к различным идейно-общественным течениям: от монархического до

народнического. Но в оценках павловского царствования они оказывались, как правило, удивительно единодушными. Под их пером оно выступало как эпоха "произвола и насилия", "бреда и хаоса", "вакханалии деспотизма", "слепой прихоти" и самовластных капризов, а сам Павел, неспособный к сколь-нибудь разумным и систематичным действиям, представал "пугающим образом тирана и безумца". Под тем же углом зрения изображался Павел и в трудах известных иностранных историков XIX в., переиздававшихся тогда в переводах в России. Словом, Е. С. Шумигорский имел в 1907 г. все основания сказать: "Даже теперь, спустя сто лет, читая некоторые исследования об императоре Павле, мы как бы переживаем впечатления и слушаем отзывы самых пристрастных его современников".

Заполонив собой историческую мысль, пристрастно-обличительный взгляд на Павла проник и в историческую беллетристику начала XX в. да и более позднего времени. Нашумевшая в свое время пьеса Д. С. Мережковского "Павел I" в этом отношении особенно характерна. Основной ее пафос — осуждение самодержавия на примере сгущенных до предела мрачных свойств Павла — личности и правителя, гибнущего в результате им самим развязанной фантазмагии деспотизма. Отсюда ведет свое начало целая традиция уничижительного изображения Павла в искусстве. Подчеркивая абсурдность известных странностей, парадоксов, несуразностей импульсивного характера Павла в последние годы его жизни, авторы некоторых произведений искажали до неузнаваемости его реальный исторический облик и приходили к весьма рискованным обобщениям. Яркий пример тому — замечательный по своим литературным достоинствам рассказ Ю. Н. Тынянова "Поручик Кижэ". В нем получила свое художественное воплощение довольно спорная, более публицистическая, нежели научная, идея о безумии Павла как заостренной форме "самодержавного деспотизма", выдвинутая едва ли не впервые еще А. И. Герценом в середине прошлого века, когда о Павле и его эпохе мало что знали даже специалисты. Ведь не кто иной, как сам Герцен находил тогда же царствование Павла I "совершенно

неизвестным у нас".

В начале XX в. наметилась тенденция и к исторически объективному его освещению, к проверке достоверности сомнительных и ложных показаний современников, к учету ценных исследований и документальных публикаций, проникавших все же со второй половины XIX в. на страницы редких изданий. Здесь в первую очередь должны быть названы известные книги упомянутого уже не раз Е. С. Шумигорского о Павле I, императрице Марии Федоровне и Е. И. Нелидовой. Менее известно, однако, что на той же точке зрения в отношении Павла стоял и В. Ф. Ходасевич, задумавший в 1913 г. о нем книгу. Сохранившиеся ее наброски и планы отмечены стремлением отрешиться от прежних стереотипов и глубже проникнуть в духовный склад его личности. Заметной вехой на том же пути стала капитальная монография М. В. Ключкова "Очерки правительственной деятельности времени Павла I" (1916 г.), развеявшая многие мифы о нем и его политике старой историографии.

Однако эти плодотворные усилия после революции 1917 г. были, по понятным причинам, искусственно прерваны и в течение всего советского периода над павловским царствованием снова нависла полоса забвения, если не считать его обстоятельного освещения в университетском курсе С. Б. Окуня (1948 г.). Другим важным исключением явилась вышедшая в 1982 г. книга Н. Эйдельмана "Грань веков", по сути дела реабилитировавшая павловскую тему в общественно-исторической мысли. В книге, с опорой на свежие источники, был выдвинут ряд новых, важных для понимания эпохи идей, а сам Павел представлен во всей сложности и противоречивости своей натуры.

Справедливости ради надо сказать, что традиция исторически объективного подхода к личности и деяниям Павла уходит своими корнями еще в глубины XIX в. В историографическом плане она связана прежде всего с именем знаменитого военного и государственного деятеля, творца военной реформы 1874 г. Д. А Милютина, выпустившего

в 1857 г. второе издание "Истории войны 1799 года между Россией и Францией". Понятно, что фигура Павла I была затронута здесь лишь на фоне военно-исторической тематики книги, но впервые в научной литературе она была показана здесь достаточно непредвзято, и в характеристике Павла-великого князя, и его правительственной деятельности, и в оценке его личности. В дальнейшем, к сожалению, "павловские" страницы книги Милютина были прочно забыты, и интерес к ним возродился лишь в XX в.

В более широком, литературно-историческом плане важно отметить, что судьба Павла обратила на себя внимание А. С. Пушкина, со второй половины 1820-х гг. неизменно вызывала к себе его сочувствие и входила в сферу его творческих интересов. Именно Пушкину принадлежит знаменитая формула о Павле как "романтическом нашем императоре". В Дневнике и "Застольных разговорах" поэта мы находим десятки колоритных записей о Павле, Пушкин разрабатывал план драматического сочинения "Павел I", собирался включить описание его царствования в задуманный им труд о политической истории России XVIII в. — от Петра Великого "вплоть до Павла Первого".

Сильно занимала личность и нравственно-психологический облик Павла и Л. Н. Толстого, воспринимавшего его в том же ключе, что и Пушкин. В 1853 г. он писал: "Мне кажется, что действительный характер, особенно политический, Павла I был благородный, рыцарский характер". "Я нашел своего исторического героя, — сообщал Толстой П. И. Бартеневу в 1867 г. — И ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю". Спустя 40 лет, когда после снятия цензурных стеснений оживился интерес русской образованной публики к павловской эпохе, Толстой, погружившись в чтение ставшей доступной тогда исторической литературы, снова возвращается к этому историко-художественному замыслу, оставшемуся, однако, неосуществленным.

Но еще задолго до того мыслящие, наиболее проницательные современники "романтического императора" без всяких предрассудков судили о бурной, полной надежд и тревог, острейших коллизий и

предельного напряжения павловской эпохе, отдавая себе отчет в том, что по историческому масштабу и значению она никак не соответствует своей кратковременности. "Кратковременное царствование Павла I, — писал декабрист В. И. Штейнгель, — вообще ожидает наблюдательного, беспристрастного историка, и тогда узнает свет, что оно было необходимо для блага и будущего величия России". А. П. Ермолов, сам пострадавший в молодости от павловских репрессий, два года проведенный в костромской ссылке, тем не менее с течением лет, по словам собеседника-мемуариста, "не позволял себе никакой горечи в выражениях... Говорил, что у покойного императора были великие черты и исторический его характер еще не определен у нас".

Когда вечером 6 ноября 1796 г., через два часа после того, как Екатерина II испустила последний вздох, генерал-прокурор А. Н. Самойлов огласил в церкви Зимнего дворца манифест о ее кончине и восшествии на прародительский престол императора Павла Петровича, это был по тем временам уже достаточно немолодой человек — совсем недавно ему исполнилось 42 года. Царствовал же он, напомним, всего 4 года и 4 с лишним месяца.

Итак: 42 и 4 — как несоизмеримы эти величины! За всю 300-летнюю историю Дома Романовых это был весьма редкий случай вступления монарха на престол в столь позднем возрасте. Екатерина II, например, стала его обладателем в 33 года, сыновья Павла I Александр и Николай воцарились соответственно в 24 года и в 29 лет. Средний же возраст на момент воцарения у предшественников и потомков Павла I на романовском троне составлял около 30 лет. В старшем, нежели Павел I, возрасте российский престол был занимаем только дважды: Анной Ивановной (1730 г.) — в 47 лет и Екатериной I (1725 г.) — в 43 года. Но обе они оказались на престоле достаточно неожиданно и случайно, в разгар бурной придворной борьбы, не имели преимущественных династических прав, и главное, никто и никогда не готовил их к императорскому сану, к совершению столь высокого государственного поприща.

Случай же с Павлом, который был общественно признан наследником российского престола еще при своем рождении и официально провозглашен им в 1762 г., являлся в этом отношении совершенно беспрецедентным. Он и сам отдавал себе отчет в необычности своего положения. "Мысль, что власть, — как отмечал В. О. Ключевский, — досталась ему слишком поздно", не могла не будоражить его сознания. "Императору было 42 года, когда он взял в руки бразды правления, — вспоминал Д. П. Рунич. — Может быть, он предугадывал, что большая часть жизни его уже пройдена". Вполне определенно свидетельствовал о том же церемониймейстер при дворе Павла I Ф. Г. Головкин: "Первую часть своей жизни он провел в сожалении о том, что он так долго не мог царствовать, а вторую часть отравило опасение, что ему не удастся царствовать достаточно долго, чтобы наверстать потерянное время".

К исходу дня 5 ноября 1796 г., на подъезде к Петербургу, куда Павел был спешно вызван из Гатчины к умирающей от апоплексического удара Екатерине II, у сопровождавшего его Ф. В. Ростопчина невольно вырвался восторженный возглас: "Какой момент для вас, ваше высочество!" Растроганный Павел ответил со смешанным чувством печали, досады и надежды: "Подождите, мой друг, подождите. Я прожил 42 года. Бог меня поддерживал. Быть может, Он даст мне силу и разум исполнить даруемое Им мне предназначение".

Время если не 42-летнего, то уж, во всяком случае, почти 25-летнего (после достижения в 1772 г. совершеннолетия) ожидания Павлом престола, усугубленное к тому же крайне тяжкими условиями формирования его личности, не могло не оставить самого глубокого отпечатка на его четырехлетнем царствовании. Между тем о нем можно прочесть в любом школьном учебнике, тогда как о предшествующем 42-летнем периоде жизни Павла плохо осведомлены даже специалисты. Поэтому, чтобы понять феномен императора Павла I, следует несколько углубиться в этот период, уделив ему преимущественное внимание в нашем очерке.

"Призрак короны"

20 сентября 1754 г. у великокняжеской четы наследника престола Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны родился первенец, нареченный его двоюродной бабкой, императрицей Елизаветой, Павлом. Она сразу же взяла в свои руки заботу о новорожденном, желая дать ребенку подобающее его будущему воспитание: младенец был отторгнут от матери и отдан на попечение мамушек и нянюшек, озабоченных, однако, лишь тем, чтобы в духе старозаветных русских традиций беречь и холить царственное дитя. Под надзором невежественной женской дворни мальчик пребывал до 1760 года, когда к нему был приставлен Елизаветой обер-гофмейстер его высочества Никита Иванович Панин — видный дипломат, генерал-поручик, действительный камергер, руководивший с тех пор воспитанием Павла.

Его появление на свет после девятилетнего бездетного брака родителей вызвало в светском Петербурге смутные, но упорные слухи о том, что отец ребенка — не Петр Федорович, а подвизавшийся при дворе красавец офицер, граф Сергей Салтыков (впоследствии сама Екатерина II в знаменитых своих "секретных" записках выскажет более чем прозрачные намеки на отцовство Салтыкова). Слухи эти казались тем более правдоподобными, что его роман с великой княгиней разворачивался почти открыто при дворе, в том числе на глазах Петра Федоровича, у которого были свои причины подозревать жену в неверности. Вполне вероятно, что сама Елизавета также имела достаточно оснований поверить в них: имея свои виды на рождение у великокняжеской четы сына, она, как могла, поощряла, если вообще не инспирировала связь Екатерины с Салтыковым.

Официально, однако, Павел был признан сыном Петра Федоровича, и в плане политических отношений эпохи это представлялось куда более важным, чем вопрос о том, кто действительно был его отцом. Ибо рождение Павла явилось отнюдь не ординарным событием, подобным появлению на свет очередного царского отпрыска, — с ним связывались далеко идущие династические планы.

После смерти Петра I практика престолонаследия в России оказалась изрядно запутанной и противоречивой. Единственно законодательную силу имел, казалось бы, изданный в 1722 г. Устав о наследии престола, согласно которому отменялся прежний порядок его передачи по прямой мужской нисходящей линии и вводился новый, позволяющий "правительствующему государю" назначать наследника по собственному усмотрению. Однако в правосознании царской фамилии, аристократических, дворянских кругов, да и более широких слоев населения были еще очень живучи представления о старинном порядке наследования престола по мужскому первородству. Не только время "дворцовых переворотов", но и вся история самодержавия в России XVIII в. после Петра I, начиная от известного "Тестамент" Екатерины I, пронизана тенденцией к сочетанию, переплетению старых и новых принципов престолонаследия, приспособлению его традиционно-архаических норм к петровским установлениям. С внезапной смертью Петра II в 1730 г. оборвалась мужская линия Романовых. Приглашение "верховниками" курляндской герцогини Анны Ивановны привело к утверждению на престоле потомков старшего брата Петра I Ивана Алексеевича, с которым он в 80-х гг. XVII в. совместно царствовал, но лишь номинально. Прямые же потомки Петра I оказались в результате этого оттесненными от трона. С тех пор между этими двумя ветвями династии Романовых велась напряженная, полная порою глубокого драматизма борьба за обладание российской короной. В октябре 1740 г., незадолго до смерти, Анна Ивановна, стремясь закрепить ее за потомками Ивана Алексеевича, назначила наследником его правнука по материнской линии и своего внучатого племянника, двухмесячного младенца Иоанна Антоновича, сына принцессы Мекленбургской и герцога Брауншвейгского. Но это вызвало в России — и в привилегированных сословиях, и в простом народе — недовольство и глухой ропот. Ведь мало кто помнил умершего почти за полвека до того болезненного, подслеповатого, неспособного к государственным делам царя Ивана, заслоненного могучей и величественной фигурой своего брата Петра, и

было непонятно, почему при замещении престола предпочтение отдано не популярной в дворянской и гвардейской среде его дочери — царевне Елизавете, а какому-то чужеземному младенцу, тем более что регентом при нем был объявлен ненавистный всем Э. Бирон, а после его свержения, три недели спустя, правительницей империи стала вовсе никому не известная в России мать младенца Анна Леопольдовна. Любопытно, что когда Б. Миних повел гвардейцев арестовать Бирона, они поначалу были уверены, что участвуют в перевороте в пользу Елизаветы. Поэтому низложение Иоанна Антоновича 25 ноября 1741 г. было воспринято как долгожданный, справедливый, отвечающий национальным чаяниям акт; провозгласив себя императрицей, Елизавета тем самым восстанавливала права на российском престоле потомков Петра I, и примечательно, что главным доводом в пользу законности совершенного ею переворота она выдвигала "близость по крови", то есть свои дочерние права на "наследный родительский наш всероссийский престол".

В предисловии к впервые изданному в Лондоне в 1858 г. "Запискам императрицы Екатерины II" А. И. Герцен заметил, что в череде царственных лиц, сменявших друг друга на российском троне, — от Екатерины I до Елизаветы Петровны, "именно она представляет законное начало". Однако законность прав Елизаветы была далеко не бесспорной. Свергнув царствующего монарха Иоанна Антоновича, который был назначен Анной Ивановной своим преемником в соответствии с петровским Уставом 1722 г., Елизавета нарушила действующее законодательство, притом что сама она еще в 1730 г., как и все российские подданные, присягнула в верности тому наследнику, который со временем будет определен Анной Ивановной. В этом отношении появление Елизаветы на престоле не было легитимным, несмотря на ее близость "по крови" к Петру I, но именно на этом основании военно-дворянскому общественному мнению, особенно столичному, оно представлялось вполне оправданным.

При таких предпосылках Елизавета не могла не ощущать шаткости

своего положения на троне, и с момента воцарения вопрос о том, что делать с Иоанном Антоновичем и его семьей, был для нее едва ли не самым тяжелым. Первоначально она предполагала выслать их в Брауншвейг с соблюдением при этом "должного почтения, респекта и учтивости". Брауншвейгское семейство было отправлено по назначению, но на некоторое время задержано в Риге и Динамюнде, где за ним был установлен усиленный надзор. Затем Елизавета начинает, видимо, осознавать, какую опасность, даже чисто символически, может представить для нее находящийся на свободе за границей Иоанн Антонович, имеющий к тому же влиятельных родственников-покровителей при прусском дворе и в немецких влиятельных княжествах. Побуждаемая сочувственными к Иоанну Антоновичу толками в простонародье и реальными заговорами в пользу его возвращения на престол (а за этим стояли все патриархально настроенные противники петровских реформ), она круто меняет свое решение, и в 1744 г. его семья ссылается в Холмогоры, что в 70 верстах от Белого моря. Здесь в доме местного архиерея брауншвейгское семейство в строжайшей тайне, полной изоляции от окружающего мира, проводит несколько мучительных десятилетий. Рождение у Анны Леопольдовны в заточении сыновей — принцев Петра и Алексея, которые, по логике завещания Анны Ивановны, имели больше династических прав, чем Елизавета, внушает ей сильное беспокойство, и делается все, чтобы весть о появлении еще двух потенциальных претендентов на престол не вышла за стены архиерейского дома в Холмогорах.

Иоанна же Антоновича постигла не менее страшная участь. В 1744 г. он навсегда отлучается от родителей и содержится в совершенной неизвестности отдельно от них. Теперь и само его имя предается забвению (в официальных документах его велено упоминать не императором Иоанном, а принцем Григорием). 12 лет спустя, проведая о замыслах по его освобождению, зреющих не без интриг враждебного к России прусского короля Фридриха II, Елизавета распорядилась перевести поверженного императора из Холмогор в Шлиссельбург и

содержать там скрытно, безгласно, с особыми мерами предосторожности, дабы "о вывозе арестанта" никто не мог узнать в России и за границей.

Для укрепления своих династических позиций Елизавета спешно пытается привлечь на свою сторону сына старшей сестры Анны Петровны от брака с герцогом Голштинским, 14-летнего Карла-Петра-Ульриха, который как внук Петра I обладал преимущественными с ней правами на престол. Уже в феврале 1742 г. он был доставлен из столицы Голштинии г. Киля в Петербург, в ноябре крещен в православие под именем великого князя Петра Федоровича и торжественно провозглашен наследником Елизаветы. В 1745 г. она женит его на принцессе из знатного, но обедневшего немецкого княжества Софии-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской, получившей в православии имя Екатерины Алексеевны.

В Петре Федоровиче Елизавета надеялась поначалу найти продолжателя на троне петровского рода. Но очень скоро ей пришлось разочароваться — привезенный из Киля герцог оказался на редкость отсталым физически и умственно, удивлявшим окружающих ограниченностью и ничтожеством своих помыслов, грубым и вздорным характером, пристрастием даже во вполне зрелом возрасте к детским забавам и нелепым выходкам, а зачастую и самыми низменными наклонностями. Не подготовленный к семейному существованию, он жил в разладе с Екатериной, всячески ее третируя и предаваясь пьянству развлекался, как мог, на стороне. Единственно, что его все-таки занимало, так это плац-парадная сторона военного дела с ее жестокой муштрой и мелочной формалистикой, культивируемыми его кумиром Фридрихом II. Уже в более поздние годы Семилетней войны и напряженных отношений с прусским двором он не скрывал к нему своих симпатий и, вопреки военно-государственным интересам России, готов был чуть ли не открыто стать на его сторону. К российским же делам Петр Федорович оставался глубоко чужд, будучи поглощен заботами о своей "доброй" Голштинии и испытывая к ней неподдельно ностальгические чувства.

Поэтому как только у Екатерины после нескольких лет, казалось бы,

тщетных ожиданий родился сын, Елизавета именно на него возлагает свои династические надежды. В провозглашении его — правнука Петра I — своим преемником она видит не только прочную преграду от притязаний разного рода "сочувственников" Иоанна Антоновича ("образ дитяти императора Ивана III заслонялся колыбелью новорожденного великого князя" — как точно высказался на сей счет историк В. А. Бильбасов). Елизавета связывает с ним и более широкую перспективу упрочения на российском троне петровской ветви Дома Романовых. Уже само имя, которое она дала новорожденному, было исполнено знаменательного смысла, как напоминание о глубокой преемственной связи между правнуком и прадедом — ведь имена апостолов Петра и Павла неотделимы друг от друга в православной традиции и даже их память отмечается Церковью в один и тот же день. Выражением этого, в частности, явилось и основание самим Петром в Петербурге собора Петра и Павла.

Таким образом, говоря словами В. Ходасевича, династические планы Елизаветы "создали над головой ребенка какой-то призрак короны „...“. В глазах многих людей Павел, еще не умея того понимать, был уже почти императором". И этот "призрак короны" оказался для него источником бесконечных страданий "...". С этой минуты ему предстояло разделить неизбежно трагическую судьбу всех маленьких претендентов". Но чашу своего рокового предназначения Павел испьет, как увидим, потом, когда достигнет зрелых лет. Но уже в первые годы после рождения связанные с ним династические намерения Елизаветы не остались тайной при дворе и нашли своих приверженцев в вельможной аристократии и столичном дворянстве, вполне оценивших их государственное значение. Когда, например, Н. И. Панин стал представлять шестилетнему Павлу иностранных дипломатов и возить его на придворные спектакли и обеды, то объясняли это слухами о том, что Елизавета готовит Павла к занятию престола.

Мысль о лишении прав на него Петра Федоровича и назначении своим наследником Павла долгие годы выкашивалась Елизаветой, на этот счет

строились разные проекты: то выслать из России Петра Федоровича с супругой, к которой Елизавета не питала доверия, подозревая ее в склонности к политическим интригам, то все же привлечь Екатерину к управлению государством при малолетнем Павле-императоре. Так или иначе, но необходимо было официально объявить об изменении порядка престолонаследия, на что, кстати, Елизавета имела юридические основания, поскольку в петровском Уставе 1722 г. предусматривалась для царствующего монарха возможность назначить нового наследника, если прежний оказывался почему-либо непригодным к исполнению императорских обязанностей.

Время, однако, шло. Елизавета часто болела, старела, все более отходила от дел, имея, по словам Екатерины, "решимость весьма медлительную", и перед смертью, последовавшей 25 декабря 1761 г., так и не успела оформить своей воли относительно отстранения Петра Федоровича от престола и передачи прав на него Павлу. Но перед кончиной она все же завещала племяннику заботиться о малолетнем великом князе.

Став императором, Петр III не только не внял этим просьбам, но почти открыто отвергал сына и даже отказался признать его своим наследником. Имя Павла как законного наследника Петра III не было включено в манифест о его восшествии на престол. Более того, отрицая свое отцовство, он намеревался объявить Екатерину виновной в прелюбодеянии и сына ее Павла — незаконным, заключив их обоих пожизненно в крепость. Женившись на своей возлюбленной фрейлине Елизавете Воронцовой, Петр III собирался возвести ее на престол. Носились даже слухи о совсем уже сумасбродном намерении Петра III объявить своим наследником не кого иного, как заточенного в Шлиссельбургском каземате Иоанна Антоновича. Это означало бы полный крах всех надежд Елизаветы и ее окружения на восстановление династических прав потомков Петра I. К лету 1762 г. напряжение при дворе достигло своего предела.

Но 28 июня совершился дворцовый переворот с отстранением Петра III

— предполагалось, что его, так же как "принцессу Анну и ее детей", заключат в крепость. Но 6 июля в Ропше, куда он был переведен под охраной, при весьма сомнительных обстоятельствах, в присутствии А. Г. Орлова и Ф. С. Барятинского последовала его неожиданная смерть, и тут же стоустая молва объявила этих ближайших сподвижников Екатерины виновниками в его умерщвлении, а во всенародно оглашенном манифесте причиной смерти Петра Федоровича был назван приступ "геморроидальных колик".

Только это и пресекло столь угрожавшие правам Павла поползновения Петра III. Однако и при Екатерине II его права по-прежнему оставались весьма ущемленными.

Еще в бытность великой княгиней Екатерина с ее неукротимым честолюбием и врожденным инстинктом властвовать, с ее государственным умом и редким для иностранки пониманием русских национальных интересов была охвачена, по образному выражению А. И. Герцена, "тоской по Зимнему дворцу". Даже в первые годы замужества, по собственному признанию Екатерины, для нее уже "далеко не безразличной была „...“ русская корона". Вместе с тем Екатерина не могла не отдавать себе отчета в том, что сама она как принцесса ангальт-цербстская ни кровнородственно, ни юридически легитимных прав на эту корону не имеет (ее притязания в данном отношении были куда менее основательны, нежели Анны Ивановны или Елизаветы). Поэтому при дворе ревнивой, завистливой, недружелюбной к ней Елизаветы она до поры до времени вынуждена была скрывать свои вождения, уповая лишь на династическое будущее столь нелюбимого и чуждого ей мужа или малолетнего, но отторгнутого у нее сына. Однако по мере того, как к концу 1750-х гг. все более прояснялась непригодность Петра Федоровича к государственному поприщу, у Екатерины и близких к ней при дворе сановников зреют планы привлечения ее к государственным делам. Так, в 1758 г. канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, со своей стороны, предлагал Екатерине, втайне от Елизаветы в случае ее смерти, устранить Петра Федоровича и возвести на престол Павла с назначением ее при нем

регентшей. В 1761 г. Екатерине стало известно о переговорах между фаворитом императрицы И. И. Шуваловым и Н. И. Паниным о способах отстранения от власти Петра Федоровича, когда не станет Елизаветы, и передаче престола Павлу, причем по одному из вариантов предусматривалось оставить при нем Екатерину в качестве правительницы. Сама Екатерина говорила датскому посланнику, барону Остену, что "предпочитает быть матерью императора", чем супругою, и что тогда "она имела бы более власти и более участия в управлении страной". И хотя при подготовке дворцового заговора 1762 г. Екатерина выступала против Петра III, по видимости, от имени Павла, как бы защищая его поправные отцом права, что было для нее лишь формой лавирования, приспособления к сложной политической ситуации, но в глубине души она никогда и не думала разделять власть с кем бы то ни было, даже с собственным сыном, собираясь править единодержавно.

Дворцовый заговор 1762 г. был организован, как известно, двумя влиятельными группировками. Одну из них, опиравшуюся на военную силу гвардии, возглавляли братья Орловы — наиболее последовательные и радикальные приверженцы притязаний Екатерины. Во главе другой группировки, отражавшей мнения противостоящей Петру III придворно-вельможной аристократии и столичного дворянства, стоял воспитатель Павла Н. И. Панин. Сблизившись с Екатериной, признавая ее неоспоримые преимущества перед мужем, ведя с ней доверительные разговоры о воспитании Павла и т. д., Н. И. Панин не разделял, однако, ее самодержавные устремления. Полагая, что представляет подлинные интересы Павла в перипетиях придворной борьбы, Н. И. Панин считал, что именно он, Павел, как прямой потомок Петра I, является единственно законным претендентом на российский престол, Екатерине же отводил при этом роль регентши. Той же точки зрения придерживались и другие сподвижники Н. И. Панина, в том числе и активная участница заговора княгиня Е. Р. Дашкова.

Но дело было не только персонально в Павле и в его правах. С его восшествием на престол Н. И. Панин рассчитывал многое переменить в

государственном устройстве России.

Один из образованнейших и политически опытных людей своего круга, человек твердых и независимых убеждений, воспитанный, как и другие представители русской знати той эпохи, на идеалах европейского Просвещения, Н. И. Панин 12 лет провел русским посланником в Стокгольме и проникся принципами шведской конституционной системы, урезавшей парламентскими учреждениями абсолютную власть короля и давшей известные политические права сословиям, прежде всего дворянской аристократии. Зачатки конституционности по шведскому образцу он и собирался внедрить в России — с тем, чтобы со временем преобразовать самодержавие в "законную", основанную на представительных институтах монархию. К движению по этому пути призван был подтолкнуть и представленный Н. И. Паниным уже после воцарения Екатерины II проект "Императорского совета", ограничивавший с олигархических позиций некоторые прерогативы ее власти, но ею же в конце 1762 г. отвергнутый.

В итоге дворцового переворота 1762 г. был отвергнут и "павловский" проект Н. И. Панина в целом — в борьбе двух указанных выше группировок верх одержала "партия" Орловых, благодаря решительной поддержке которых Екатерина и была провозглашена императрицей. Н. И. Панину пришлось тогда смириться; поговаривали, однако, что Екатерина будто бы дала заверение в том, что после совершеннолетия Павла возьмет его в соправители.

Но куда как важнее, что в манифесте о восшествии на престол (т. е. еще при жизни Петра Федоровича) Екатерина объявила Павла "природным наследником престола Российского". И не в том дело, было ли это своего рода компромиссом, уступкой давлению Н. И. Панина и его сторонников или Екатерина и без того понимала, что уже по одной логике противоборства с мужем не могла поступить иначе, особенно в тех условиях, когда значительная часть русского общества хотела видеть в Павле естественного в будущем обладателя трона.

Парадокс, однако, заключался в том, что эта акция, как будто бы

узаконивавшая наконец династические интересы Павла, сама по себе была нелегитимна, ибо возведение Екатерины в императорский сан являлось не чем иным, как узурпацией его коренных прав на престол. И для Павла эта коллизия ничего хорошего в дальнейшем не сулила.

Воспитание

После переворота Н. И. Панин оставался при Екатерине II одним из главных советников, в 1767 г. был возведен в графское достоинство, в 1763 г. поставлен во главе Коллегии иностранных дел, до 1781 г. направлял дипломатическую деятельность двора. Пользуясь расположением императрицы и будучи ее единомышленником во многих государственных делах, Н. И. Панин тем не менее в том, что касалось Павла, придерживался своих собственных взглядов.

Стремясь прежде всего дать великому князю достойное его сана и соответствующее европейским стандартам образование, Н. И. Панин привлек лучших учителей, обучавших его достаточно разнообразному по тем временам набору дисциплин — арифметике, геометрии, физике, географии, истории, словесности, воинскому искусству, государственному управлению, иностранным языкам, рисованию, танцам и др. В круг чтения Павла входили книги французских энциклопедистов — Вольтера, Монтескье, Дидро, Гельвеция, Деламбера, и вообще его начитанность в зарубежной и русской литературе, античной классике была весьма обширна. Религиозное воспитание великого князя было возложено на ученого иеромонаха, впоследствии знаменитого проповедника митрополита Платона.

Среди привлеченных Н. И. Паниным учителей, пожалуй, наиболее яркой и привлекательной фигурой был преподаватель математики С. А. Порошин — молодой офицер и литератор, человек обширной учености и высоких душевных достоинств, поклонник просветительской философии и передовых педагогических воззрений эпохи. Порошин души не чаял в своем воспитаннике, не разлучался с ним целыми днями и стремился привить ему гуманные, нравственные принципы и расширить умственный

кругозор, не ограничиваясь только математическими науками.

С сентября 1764-го, весь 1765-й и отчасти в 1766 г. Порошин вел дневник, где со множеством колоритных подробностей изо дня в день фиксировал все, что происходило с великим князем, — его быт, поступки, времяпрепровождение, учебные занятия, свои беседы с ним, его характерные словечки и т. д. В дневнике вместе с тем содержались ценнейшие сведения о "домашней" жизни окружения Екатерины II, записи разговоров виднейших сановников на животрепещущие политические и "дворцовые" темы, которые они, не стесняясь, вели за столом юного великого князя. Записывал он в дневнике и их занимательные рассказы о мало кому тогда еще известных перипетиях истории прежних царствований — от Петра I до Екатерины II. Словом, дневник Порошина — уникальный для своего времени по содержанию и литературным достоинствам мемуарный памятник, "как в зеркале" отобразивший, по характеристике П. И. Бартенева, "историческую картину нашего двора и петербургского общества" 60-х гг. XVIII в. да и более раннего времени. Но благодаря своим достоверным и непосредственным записям он дает и драгоценную возможность постичь внутренний мир и личность Павла в детские годы.

Со страниц дневника Павел предстает живым, не по летам развитым, вдумчивым, находчивым, метким на слово, по-своему обаятельным ребенком, подверженным, правда, быстрой смене настроения, повышенной впечатлительности, но отходчивым, добрым и доверчивым. Конечно, ему не было чуждо ощущение своей исключительности, обусловленное всем строем жизни и воспитания великого князя, из чего проистекали черты капризности, нетерпеливости, своенравия и т. д. Но при этом никаких отклонений от нормы, никакой психической неполноценности (на чем так настаивали позднейшие хулители Павла I, искавшие уже в его детстве признаки безумия) не наблюдалось. Глубоко прав был в этом отношении Е. С. Шумигорский, предостерегавший в начале XX в. биографов Павла от такого пристрастного использования дневника Порошина: "В словах и действиях 10-летнего мальчика нельзя

искать объяснения всей жизни императора и ставить ему в строку каждое лыко в известном направлении".

Это здоровое, нормальное, естественное начало детской природы Павла хорошо почувствовал Л. Н. Толстой, обратившись в первые годы XIX в. в своих занятиях павловской эпохой к чтению дневника Порошина. Из поденных записей Д. П. Маковицкого мы узнаем, как "Л. Н. восхищался Порошиным: „Какие подробности! Художественно описано!“ Л. Н. говорил, что ему, готовящемуся писать о том времени, чтение доставляет большое удовольствие и полезно". 16 февраля 1906 г. Маковицкий записывает свежие впечатления Толстого от знакомства с дневником: "Очень умный, образованный был „...“. Просто милый „...“ веселый мальчик „...“ чрезвычайно любознательный „...“. 20 февраля: „Какой живой передо мной этот мальчик Павел“. 4 марта: „Чудо какой милый мальчик“. 6 марта: „Л. Н. „...“ за обедом рассказывал с восторгом и умилением о Павле Петровиче“.

Тень Петра III

Считая права Павла на престол непререкаемыми не просто в некоем отдаленном будущем, когда, скажем, не станет Екатерины II, а именно теперь, при ее жизни, Н. И. Панин не исключал возможности его соучастия наравне с ней в управлении государством. В соответствии с этим он и готовил своего воспитанника к высокому поприщу.

После воцарения Екатерины II Н. И. Панин исподволь, постепенно, по мере того как Павел рос и мужал, все более последовательно внушал ему представление о его династических правах. Мысль о том, что великому князю предстоит рано или поздно занять российский трон, была темой постоянных разговоров с ним и С. А. Порошина. Так, в октябре 1764 г. он записывал в дневнике: "Его императорское высочество приуготовляется к наследию престола величайшей в свете империи российской". 29 октября и 2 ноября того же года Порошин убеждает своего воспитанника: "Для чего ему не быть в чине великих государей, что способы все к тому имеет", ведь он "рожден в том же народе", что и прадед его Петр

Великий, и "того же народа Божиими судьбами будет в свое время обладателем". Чем глубже, однако, укоренялась в сознании Павла мысль о его "природном" праве на престол, тем он яснее должен был понимать, что мать его, Екатерина II, этих прав никогда не имела и оказалась у власти лишь благодаря особому стечению обстоятельств, а отсюда с неизбежностью вставал вопрос о судьбе его отца — законного обладателя престола, его же, Екатериной, с него низложенного.

Эти детские и юношеские прозрения тяжело отзывались на еще не окрепшей душе Павла, находя опору и в холодной отчужденности матери, еще сызмальства отторгнутой от воспитания сына. Нетрудно представить себе, с каким ужасом подрастающий Павел вспоминал мятежный, волнующийся, полный войск Петербург в день 28 июня 1762 г., когда его, полуодетого, сонного, испуганного, под охраной гвардии второпях перевезли из Летнего дворца в Зимний, а затем Н. И. Панин доставил его в Казанский собор присягать воцарившейся вдруг матери (ходил даже слух, что его жизни угрожала в тот день опасность). Не менее мучительными были воспоминания и о том, как несколько дней спустя объявили о загадочной смерти от какой-то непонятной болезни уже отстраненного от трона отца. Болезненно отразилось на ранимой психике Павла последовавшее убийство в Шлиссельбургской крепости Иоанна Антоновича, спровоцированное неудавшейся попыткой его освобождения В. Мировичем, и публичная казнь последнего в Петербурге. Тем самым, кстати, была практически устранена почва для притязаний на престол потомков царя Ивана Алексеевича. Екатерина II была в этом настолько заинтересована, что хотя и не находилась в то время в столице, в России и за рубежом пошли толки о ее тайной причастности к этому убийству и намерении точно так же поступить и с сыном — куда более серьезным династическим соперником, нежели заточенный в крепость царевич. О том, что в самом деле произошло 6 июля 1762 г. в Ропше с Петром III и как вела себя в те дни во всей этой военно-придворной неразберихе Екатерина, Павлу, разумеется, не говорили, как, впрочем, о том не говорили открыто и официально при

дворе в течение многих последующих десятилетий. О роли в происшедшем матери, о действительных причинах смерти отца, подробности о кратковременном царствовании Петра III — обо всем этом Павел узнает (а кое о чем будет лишь догадываться) значительно позже, когда взойдет на престол. Но тогда, еще в юности, в бытность наследником, темные слухи и отдельные крупницы реальных сведений, возможно, все же до него доходили. Маловероятно, чтобы Павел верил в официальные рассказы о причинах смерти отца, он подозревал за ними нечто иное — загадочное и зловещее. Как верно заметил один из биографов Павла, "ропшинская драма сделалась мрачным фоном его жизни". Во всяком случае, сам катастрофический в его биографии характер событий 1762 г. не мог не будоражить воображение подрастающего великого князя и служить предметом самых тяжелых его размышлений и долгие годы спустя. На этой почве у Павла сами собой пробуждались симпатии и интерес к отцу, которого в детстве он, в сущности, толком не знал, но облик которого был овеян ореолом непонятого современниками, но желавшего России добра императора, и ему хотелось ныне во всем ему подражать. Именно такой мифический образ Петра III культивировал в сознании Павла Н. И. Панин, вселяя в него обиду за отца, скорбь по нему, ставшему жертвой "дурных импрессий" властолюбивой матери. Естественно, что в этом комплексе мучительных переживаний Павла доминирующую роль играло чувство острого недоброжелательства к Екатерине, похитившей у него законный, принадлежащий ему по праву рождения престол, — чувство, переросшее с годами в почти открытую вражду, в неприятие всего склада ее личности, ее бытового поведения, государственных установок и проводимой ею политики.

Уже в нашем столетии историки упрекали Н. И. Панина, ответственного за воспитание наследника, в том, что он не раскрыл перед ним отрицательных свойств Петра III и вместе с тем оказался слишком пристрастен к Екатерине II, чтобы объяснить Павлу историческое значение ее воцарения. При этом недоумевали, как мог допустить это тот

самый Н. И. Панин, который лучше других знал цену Петру III и являлся одним из вдохновителей заговора 1762 г. Между тем Н. И. Панин, сея разлад между матерью и сыном, меньше всего сводил с кем-либо личные счеты, а действовал как политик, движимый неумолимой логикой придворной борьбы и сложных взаимоотношений с императрицей, логикой своих династических расчетов относительно Павла и, главное, глубокой убежденностью в законности его прав на престол.

При всем том вряд ли было бы правильно преувеличивать неприязнь Екатерины II к сыну, полагая, что свое отношение к Петру III она перенесла на Павла. Ее родственные привязанности и антипатии вообще трудно укладываются в какую-либо норму. Так, при пылкой любви к Григорию Орлову она была достаточно равнодушна к своему побочному от него сыну Алексею Бобринскому, а тяжелые отношения с Павлом не помешали ей быть любвеобильной, обожающей его детей бабушкой. К Павлу она действительно не проявляла нежных материнских чувств — рассудок превалировал в ней над эмоциями, а расчетливый эгоизм — над порывами души. Тем не менее она старалась (особенно в детские годы Павла) быть заботливой, вполне сознавала свои родительские обязанности и права, и если видела в сыне нечто себе чуждое, то лишь в той мере, в какой он выступал как потенциальный претендент на престол, как олицетворение определенных политических тенденций. Ибо как только выявилось противостояние Павла и Екатерины, он невольно стал знаменем всех фрондирующих, оппозиционных к ее складывающемуся режиму общественных сил, всех не приемлющих вакханалию фаворитизма, произвол временщиков, развращенные нравы Двора, цинизм, государственное расточительство и т. д. В первую очередь тут следует назвать группировавшихся вокруг Н. И. Панина представителей просвещенной части дворянства и старинной аристократии, составлявших как бы "партию" наследника (в нее входили, например, его брат граф П. И. Панин, крупный военачальник, известный своими успехами в войне с Турцией и в подавлении Пугачевского восстания, крайне критически настроенный к императрице — она сама

называла его своим "персональным оскорбителем", их внучатый племянник, любимец Павла с детских лет, действительный камергер и обер-прокурор Сената А. Б. Куракин, другой близкий родственник Паниных, генерал и дипломат князь Н. В. Репнин, секретарь, друг и единомышленник Н. И. Панина знаменитый сатирик и драматург Д. И. Фонвизин).

Екатерина II знала, конечно, о том, в сколь неприязненном к ней духе воспитывается под эгидой Н. И. Панина ее сын, и хотела бы это пресечь, как она пресекала любые намеки на временный или нелегитимный характер своей власти. Но в первые годы царствования, когда ее положение на престоле не было еще достаточно прочным, Екатерина II на такой резкий шаг не решалась. При этом она не могла не считаться с еще очень сильным в те годы влиянием "панинской" группировки, тем более что имя Павла — соперника матери во власти — было, как увидим далее, популярным в общественном мнении и низовых слоях населения. В то же время Екатерина II была озабочена и сохранением известного баланса противоборствующих интересов при дворе, учитывая особую агрессивность "орловского" клана по отношению к Павлу, что было сопряжено даже с опасениями за его жизнь. Впоследствии в разговоре со своим секретарем А. В. Храповицким об условиях воспитания Павла она прямо признала, что "по политическим причинам не брала его от Панина: все думала, что ежели не у Панина, так он пропал!". По этому поводу В. Ходасевич очень верно заметил, что задача Н. И. Панина, наставника Павла, заключалась, помимо всего прочего, еще и в том, чтобы с ним "не случилось чего-нибудь вроде „геморроидальной колики“, от которой погиб Петр III ": "Охранять жизнь Великого князя — вот в чем совершенно справедливо полагал он свою первейшую обязанность".

Как бы то ни было, противостояние между Екатериной и Павлом по поводу его притязаний на престол, нарастая и углубляясь с каждым годом, красной нитью проходит через все их взаимоотношения, вплоть до смерти императрицы. Первый кризис наступил в 1772-1773 гг.

Совершеннолетие

Уже давно сторонники Павла лелеяли надежду, что по его совершеннолетию Екатерина II то ли уступит ему престол и провозгласит императором, то ли привлечет каким-нибудь иным образом к управлению империей. Надежды эти питались, очевидно, еще слухами 1762 г. о будто бы данном ею тогда заверении по достижении Павлом этого сакраментального возраста взять его к себе в соправители. Разговоры об этом велись с конца 1760-х гг. среди иностранных дипломатов в Петербурге и доходили до европейских столиц. Рассчитывал на такую перспективу и Н. И. Панин. П. А. Вяземский, много знавший о закулисной жизни двора 1770-1780-х годов в связи со своими разысканиями в области политической биографии Д. И. Фонвизина, рассказывал П. И. Бартеневу, "что графом Н. И. Паниным составлена была и подана Екатерине особая о том записка", видимо призывавшая Екатерину II привлечь Павла к управлению государством, если вообще не уступить ему престол. В 1830 г. Д. Н. Блудов, разбиравший по поручению Николая I после 1825 г. секретные государственные архивы, обнаружил в кабинете Павла I собственноручные рукописи Панина с обоснованием незаконности наследования по женской линии и его незыблемых прав на престол — предназначались они явно для великого князя в связи с его совершеннолетием. Но Екатерина II, как уже отмечалось, не собиралась поступиться и малой толикой власти, и день 20 сентября 1772 г., когда Павлу исполнилось 18 лет, прошел вполне буднично, не был отмечен какими-либо знаками внимания, не состоялось подобающих такого рода датам назначений, наград и т. д. Императрица уговорила Н. И. Панина отложить празднества на год, чтобы к тому времени женить Павла, совместив, таким образом, два торжества (с женитьбой сына Екатерина связывала тайные свои надежды отвлечь его от династических поползновений). Одновременно она тесно сближается с Павлом, сама начинает вводить его в курс государственных дел, стремясь, с одной стороны, завоевать его доверие, чему способствовала и временная опала Г. Г. Орлова, посланного на переговоры с турками в Фокшаны, а с другой

— изолировать сына от Н. И. Панина, оттеснить от него прежних друзей, недовольных ее политикой. В обход Н. И. Панина, дабы ослабить его влияние, она спешно ищет для сына невесту и возвращает в Петербург Орлова, жалуя ему княжеский титул. 29 сентября 1773 г. Павел сочетается браком с принцессой Гессен-Дармштадтской Вильгельминой, нареченной в православии великой княгиней Натальей Алексеевной. Торжества были действительно объявлены, но лишь по случаю свадьбы сына, совершеннолетие же наследника — живой укор матери, узурпировавшей его права на престол — оказалось отодвинутым на задний план, затемненным свадебной шумихой, и в результате политический акт был подменен семейным. Екатерина II явно переиграла Н. И. Панина, что не замедлило сказаться на его положении при дворе.

Незадолго до того Д. И. Фонвизин, словно предвидя такой поворот событий, с тревогой сообщал сестре: "Теперь скажу тебе о наших чудесах. Мы очень в плачевном состоянии. Все интриги и все струны настроены, чтобы графа отдалить от великого князя... Князь Орлов с Чернышевым злодействуют ужасно графу Н. И., который мне открыл свое намерение, то есть буде его отлучат от великого князя, то он в ту же минуту пойдет в отставку... последняя драка будет в сентябре, то есть брак его высочества, где мы судьбу свою узнаем".

В окружении Павла находились люди, всячески раздувавшие в великом князе чувства досады и неудовлетворенности. На этой основе сложилось даже нечто подобное заговору в пользу Павла.

Выходец из Голштинии, когда-то близкий к Петру III, дипломат на русской службе, авантюрист по натуре, Каспар Сальдерн за спиной Н. И. Панина, с которым, кстати, он тесно сотрудничал по Коллегии иностранных дел, с конца 1772 г. затеял при дворе сложную и опасную интригу. Стараясь возбудить в Екатерине II страх перед возможной в будущем независимостью Павла, он вместе с тем, пользуясь политической неопытностью великого князя, склонил его к подписанию документа, уполномочивающего Сальдерна добиваться перед Екатериной II по случаю совершеннолетия своих прав на участие в государственном

управлении. Сальдерн почему-то решил, что без особого труда вынудит к тому императрицу, надеясь незримо воздействовать на власть. В эти переговоры с великим князем был посвящен его близкий друг, камер-юнкер и морской офицер граф Андрей Разумовский. Когда Павел, раздираемый сомнениями, поведал об этом Н. И. Панину, тот пришел в ужас и решительно воспротивился проискам Сальдерна, ибо как выдавший виды сановник слишком хорошо знал, чем могут кончиться такие не подкрепленные реальной силой демарши. Однако с Екатериной II Н. И. Панин не обмолвился об этом ни словом.

Эпизод с Сальдерном не прошел мимо внимания А. С. Пушкина — еще одно свидетельство его пристального интереса к биографии Павла. В материалах поэта к "Истории Пугачева" сохранились выписки из исторических сочинений о той эпохе, донесшие отголоски некоторых реальных событий: "Сальдерн пишет проект переворота в пользу великого князя — Панин его прочел, разорвал, бросил в огонь и продолжал пользоваться услугами Сальдерна".

О "внушениях" Сальдерна, заподозрив в них интриганскую подоплеку, рассказал матери в минуту откровения сам Павел. Екатерина II была взбешена и сгоряча даже потребовала доставить к ней Сальдерна в кандалах, затем последовала его полная отставка и изгнание из России. Но гнев императрицы не обошел и Н. И. Панина. Екатерина II была возмущена тем, что наставник великого князя не донес ей о враждебных происках голштинца.

Воспользовавшись совершеннолетием и женитьбой сына, а стало быть, и окончанием его воспитания, Екатерина II в сентябре 1773 г. — спустя одиннадцать лет после воцарения — освободила наконец Н. И. Панина от должности обер-гофмейстера Павла. "Дом мой очищен", — с удовлетворением заявила она по сему случаю, что не помешало ей сопроводить эту явную немилость, по существу начавшуюся опалу Н. И. Панина, весьма благодарственным рескриптом и фантастически щедрыми пожалованиями и наградами.

Пугачевщина

Борьба "партии" при дворе вокруг династических прав Павла была в крайней степени осложнена потрясшей всю империю крестьянской войной. Буквально через несколько дней после бракосочетания великого князя в Петербург пришла весть о вспыхнувшем на Яике казацком мятеже под предводительством Е. И. Пугачева, который, объявив себя царем — "народным заступником" Петром III, спланирует под этим лозунгом огромные массы своих сторонников.

Пугачев был не единственным самозванцем, принявшим имя Петра III. Выступления под этим именем с антиправительственными и антифеодальными требованиями радикально настроенных мятежников из угнетенных "низов" составили одну из самых мощных волн самозванческого движения в России. В настоящее время известно около сорока самозванцев второй половины XVIII в., выдававших себя за Петра III, причем только за время последворцового переворота 1762 г. и до начала пугачевщины отмечено по меньшей мере семь таких лже-Петров III. Однако их действия не получили сколько-нибудь широкой известности, сведения о них, тогда строго засекреченные, сосредоточивались главным образом в карательных учреждениях империи и вряд ли доходили до столичной общественности. Тем меньше оснований думать, что об этих относительно частных и локальных проявлениях самозванчества мог что-либо знать юный и отстраненный от государственных дел Павел.

В силу громадного территориального размаха крестьянской войны 1773-1774 гг. только пугачевская версия самозванческой легенды о Петре III, к тому же социально и психологически более тщательно разработанная, обрела подлинно всероссийский характер и была воспринята придворно-правительственными верхами как угроза государственным устоям. Напомним, что призывы Пугачева были пронизаны не только антикрепостническим и антидворянским пафосом, но и резко выраженной антиекатерининской ориентацией, и уже самой апелляцией к имени Петра III до корней обнажали сомнительность прав на престол

царствующей императрицы.

В контексте династических притязаний наследника, почти открыто поддержанных в те же годы "панинской партией", это было чревато для Екатерины II самыми дурными предзнаменованиями. Появление на всероссийской арене предводителя все более разраставшегося крестьянско-казацкого бунта в обличье словно бы воскресшего из небытия Петра III не могло не оживить при дворе, среди всех так или иначе замешанных в его низложении, малоприятные воспоминания.

Но особенно сложную гамму впечатлений появление самозванца, выступавшего от имени Петра III, должно было вызвать у Павла. Смешно было бы, конечно, думать, что у него могла явиться хоть какая-то тень подозрения насчет своего родства с Пугачевым — самозванческая природа всех действий последнего была Павлу совершенно ясна. И вообще, всесокрушающая стихия крестьянского бунта вселяла в великого князя такой же страх и ненависть, как и в Екатерину II, придворную аристократию и русское дворянство в целом. Н. А. Саблуков в своих воспоминаниях свидетельствовал, что образ Пугачева на коне с обнаженной саблей в руке всю жизнь преследовал Павла. Но в то же время в тайниках души, в глубине подсознания Павлу не могла быть безразлична громогласно прозвучавшая в манифестах и именных указах Пугачева сама идея о Петре III — легитимном монархе, что, естественно, будоражило мысль о собственных правах на престол.

Тем более что едва ли не основным аргументом в пользу правдоподобия выдвинутой Пугачевым легенды, едва ли не главным способом его самоутверждения в качестве Петра III явились постоянные ссылки самозванца на Павла как живого, реально существующего цесаревича, который исполнен преданности к своему несправедливо поверженному отцу и в любую минуту готов прийти ему на помощь. "Павловские реалии" присутствовали не только в агитационных актах ставки Пугачева, но и в его бытовом, в значительной мере театрализованном, рассчитанном на броский внешний эффект поведении среди повстанцев. Известно, например, что Пугачев плакал, разглядывая добытый ему где-

то портрет Павла, и по-отечески сокрушался, что оставил его "маленькова", а "ныне вырос какой большой, уж без двух лет двадцати", при этом часто приговаривал: "Жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели". На своих пиршествах Пугачев поднимал тосты за Павла и великую княгиню Наталью Алексеевну, им же по его приказу была принесена присяга на повстанческой территории. В своем лагере Пугачев распускал слухи, что с Павлом все время ведется какая-то переписка, что "к нам скоро будет и молодой государь" и так далее. Пугачев даже заявлял, что сам он царствовать не желает, а поднял народ против властей лишь потому, что хочет восстановить на царствование государя цесаревича. Для Павла это было своего рода кульминацией в развитии антиправительственных лозунгов повстанцев, и, какой бы дерзостью она ему ни показалась, провозглашенный в данном случае пугачевский призыв, при всей парадоксальности и даже абсурдности ситуации, совпадал с его собственными потаенными намерениями. Но тем самым Павел был поставлен и в предельно напряженные отношения с Екатериной (далее мы еще коснемся расхоронившихся в простонародье во второй половине XVIII в. смутных слухов о возведении Павла на престол). Как верно заметил по этому поводу Е. С. Шумигорский, "...самая форма бунта, появление самозванцев „...“ должны были повести к частым и весьма щекотливым объяснениям между матерью и сыном или к столь же частым и не менее щекотливым умолчаниям".

Недаром и в народном сознании, и в общественном мнении бытовали в свое время толки об особом интересе, даже некоторой симпатии Павла к закамуфлированной в образ Петра III фигуре самозванца Пугачева. Отразились они, в частности, и в позднейших мемуарах Л. Л. Беннигсена, причастного к дворцовому заговору 1801 г. против Павла. Из записанных им, легендарных в значительной мере, рассказов современников следовало, что, когда Павел жил в Гатчине и опасался какого-либо "неожиданного предприятия" со стороны Екатерины II (дело было уже во второй половине 1780-х гг.), он заранее определил маршрут отхода своих войск, который "вел в земли уральских казаков, откуда появился

известный бунтовщик Пугачев", уверивший всех, "что он был Петр III". При этом, как свидетельствует Беннигсен, Павел "очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков". По-другому, уже совершенно апокрифическому варианту беннигсеновских воспоминаний, собираясь в случае угрозы со стороны Екатерины II бежать на Урал, Павел будто бы "намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим", — так причудливо отобразилась в общественном сознании логика "нижнего" самозванства в его переплетении с верхушечными притязаниями на престол. Но существуют вполне достоверные сведения о том, что, став императором, Павел посылал сенатора П. С. Рунича, участвовавшего под началом П. И. Панина в подавлении восстания Пугачева, а затем и в следствии над бунтовщиками на Урал, где оставалось еще немало живых "пугачевцев", с тем, чтобы объявить им царское благоволение.

Щекотливость ситуации, в которой оказался Павел, усугублялась также и тем, что в ходе Пугачевского восстания впервые после исчезновения Петра III был публично возбужден вопрос о его судьбе в результате дворцового переворота 1762 г. Ведь в доходивших до Петербурга известиях из повстанческого лагеря, вопреки официальным манифестам 1762 г., а иногда — и в прямой полемике с ними, всячески варьировалась тема чудесного спасения Петра III после его отречения. Молва разносила рассказы Пугачева о том, как его, то есть Петра III, "заарестовав в Ранбове (Ораниенбауме. — А. Т.) и оттуда заслали и сам не знаю куда", но в конце концов Петр Федорович был выпущен караульным офицером и с тех пор "странствовал тринадцатый год". По другой версии, Петр III не умер, "а вместо его замучили другова". Третья версия гласила, "что государь жив и сослан в ссылку, а вместо его погребен гвардейский офицер". Поговаривали, опять же со слов Пугачева-Петра III, что "враги воспылали обмануть народ, что я умер, и так, подделав похожую на меня из воску чучелу, похоронили под именем моим".

Каково же было Павлу, воспитанному в духе почитания Петра III, слышать все эти рассказы, которые, при всей их фантастичности, все же должны были всколыхнуть в нем давние волнения и тревогу за участь

отца. Накладываясь на мучительные детские размышления великого князя о том, что действительно стало с Петром III, на противоречивые и путанные слухи о его смерти, они не могли не зародить смутной надежды на то, что Петр III, может быть, еще и жив.

До самого своего воцарения Павел так и не знал толком, что же произошло с его отцом. Ценное свидетельство об этом содержится в одном из пушкинских "Замечаний о бунте". Затронув тему о самозванце Пугачеве, принявшем на себя имя императора Петра III, Пушкин заметил: "Не только в простом народе, но и высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить этому слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?".

Конфиденциальная записка "Замечания о бунте" имела своей целью заинтересовать Николая I перспективой изучения нового, "императорского периода русской истории", и нельзя допустить, что Пушкин мог сообщить царю сведения, в которых он был бы не уверен. В его окружении было немало осведомленных, переживших павловскую эпоху лиц, способных точно информировать поэта. У Пушкина был, в частности, такой надежный источник, как его родственница и постоянная рассказчица о примечательных эпизодах "секретной" истории России XVIII в. Н. К. Загряжская. Ее родная сестра была замужем за тем самым А. И. Гудовичем, ближайшим сподвижником Петра III, подвергнувшимся при Екатерине II суровой опале, которого только что воцарившийся Павел I призвал к себе для выяснения участи отца. Обратим внимание, как тонко передает при этом Пушкин внутреннее состояние Павла — он "долго верил или желал верить" слуху о том, что Петр III остался жить после 1762 г. (курсив мой. — А. Т.).

Русский Гамлет

Таким образом, Пугачев, принявший имя Петра III, становился для Павла как бы призраком отца, и его незримо витавший над великим князем

образ заставлял с новой силой ощутить трагизм и одиночество своего положения при дворе матери, подозреваемой в гибели отца и окружившей себя его убийцами. Как справедливо подметил французский историк П. Моран, тень Петра III вставала над Павлом "подобно тому, как тень отца являлась Гамлету на галерее Эльсинора". Мы можем, таким образом, полагать, что уже в начале 1770-х гг. в полной мере сложился "гамлетовский" узел биографии Павла. На это сходство не раз обращали внимание историки екатерининского и павловского времени, отмечавшие поразительные порой совпадения обстоятельств жизни Павла с подробностями судьбы героя шекспировской трагедии (например, попытки Екатерины II выйти замуж за Григория Орлова — брата главного виновника смерти Петра III Алексея Орлова; отсюда ассоциации Петра III с убитым королем, Екатерины II — с Гертрудой, братьев Орловых — с Клавдием и так далее. Так, ощущением этого сходства пронизаны многие страницы фундаментального исследования Н. К. Шильдера о Павле I, не раз называвшем его здесь "новым Гамлетом", "русским Гамлетом".

Но, что еще важнее, сходство между образом "принца Датского" и судьбой цесаревича Павла бросалось в глаза еще его современникам.

В конце 1781 г. в связи с ожидавшимся приездом в Вену великого князя Павла в придворном театре готовилась постановка "Гамлета". Однако в последний момент актер, игравший заглавную роль, отказался участвовать в премьерном спектакле, поскольку, как он заявил, "в таком случае в зале очутятся два Гамлета". И надо сказать, что император Иосиф II отнесся к этому с пониманием и вынужден был согласиться с предосторожностями актера. Но отсюда с непреложностью следует, что репутация Павла как "русского Гамлета" со всеми нюансами его реального положения при российском дворе и его взаимоотношений с Екатериной II не составляла тайны в европейских столицах.

Но куда более прочно репутация "русского Гамлета" закрепилась за Павлом в самой России. Историки русского театра уже давно обратили внимание на то странное, на первый взгляд, обстоятельство, что "Гамлет", с успехом шедший в Петербурге еще в 1750-х гг. при Елизавете

Петровне (в переводе А. П. Сумарокова), с воцарением Екатерины II полностью исчезает из театрального репертуара. По воспоминаниям известного русского драматурга и театрального деятеля конца XVIII — начала XIX в. А. А. Шаховского, "с 1762 г. „Гамлет“ совершенно скрылся с русской сцены", и так продолжалось до самого конца столетия. Причем дело было даже не в официальных препонах (хотя, когда надо было, накладывала свои запреты и цензура), а в том, что осознание близости судеб российского цесаревича и датского принца было, что называется, разлито в воздухе екатерининской эпохи, и мало кто вообще бы рискнул возбуждать ходатайство о допуске на сцену шекспировской пьесы. Причины же эти, как отмечает историк театра, "заключались в том, что в России на глазах всего общества в течение тридцати четырех лет происходила настоящая, а не театральная трагедия принца Гамлета", и, если бы пьеса хоть раз была бы поставлена, это был бы "протест против Екатерины и Орлова и апофеоз Павлу".

Деспотизм Екатерины II

События 1772-1773 гг. настолько, видимо, напугали императрицу, что она стала оттеснять Павла от управления страной. Казалось бы, достигнув совершеннолетия, великий князь-наследник, не претендуя ни на что большее, был бы вправе рассчитывать на приобщение хотя бы к текущим политическим и административным делам. Однако Екатерина II упорно не допускала его к повседневной деятельности высших государственных учреждений и, невзирая на его просьбы, не привлекла его даже к участию в образованном в 1769 г. Совете — совещательного органа при ее особе. Иногда, правда, Павлу разрешалось присутствовать при чтении императорской почты. Как правило, она избегала делиться с ним и своими многочисленными проектами в области внутреннего устройства государства и внешнеполитического курса, опасаясь к тому же натолкнуться на противодействие великого князя как сторонника совсем иной системы взглядов на внутренние и внешние дела. Лишь однажды, в 1783 г., уже после смерти Н. И. Панина, в надежде на

перемену в образе мыслей Павла Екатерина II завела с ним откровенный разговор о занятии Крыма и отношениях с Польшей. Но Павел настолько не привык к такому обращению, что сам был крайне поражен и, записав разговор с матерью, заметил: "Доверенность мне многоценна, первая и удивительная".

Единственно, что Павлу было доступно, это сфера его частной жизни. Но и тут Екатерина часто пренебрегала его личными интересами, вела себя с сыном достаточно бесцеремонно и без должного такта. Малопочтительным, мягко говоря, было и отношение к нему придворной челяди, приближенных к императрице вельмож и фаворитов-временщиков, от которых он терпел и наглые выходки, и бесчисленные мелкие уколы своему самолюбию. Сначала это были, например, ненавидевшие Павла Григорий Орлов и его братья, затем, что для него было особенно обидно, всесильный Г. А. Потемкин, ставший фактически соправителем Екатерины II, чего так безуспешно добивался сам Павел, а в конце ее жизни — заносчивый и недалекий П. А. Зубов, позволявший себе безнаказанно третировать наследника.

Нечего и говорить, что Павел с его тонкой нервной организацией и легкой возбудимостью, с верой в свое особое предназначение, крайне болезненно переживал и вынужденную бездеятельность, и ущемление своих великокняжеских и просто человеческих прав.

В апреле 1776 г. от мучительных родов умирает великая княгиня Наталья Алексеевна. Павел убит горем. Екатерина же, не щадя состояния сына, не находит ничего более уместного, как чуть ли не у смертного одра рассказать ему о найденных в бумагах покойной великой княгини письмах, проливающих свет на тайную связь ее с Андреем Разумовским. Для Павла это была травма, от которой он не скоро оправился: впервые в жизни перед ним раскрывалось предательство самых близких и самых верных людей.

В сентябре того же года Павел под давлением матери женится вторично, но предварительно совершает поездку в Берлин для знакомства с невестой — внучатой племянницей прусского короля Фридриха II

принцессой Вюртембергской Софией-Доротеей, ставшей в России великой княгиней Марией Федоровной. В декабре 1777 г. у них рождается сын Александр — великое, долгожданное событие при дворе. Связывая теперь с новорожденным будущее Дома Романовых, Екатерина II не скрывает от сына и невестки, что считает их неспособными вырастить наследника, и с поразительной для матери черствостью отлучает Павла и великую княгиню от внука и берет на себя все заботы по его воспитанию (точно также полтора года спустя она отстранит великокняжескую чету от их второго, только что родившегося сына — Константина). Екатерина, словно бы не задумываясь, воспроизводит ситуацию двадцатитрехлетней давности, когда Елизавета отлучила ее саму от воспитания Павла. Павел воспринял вторжение Екатерины в жизнь его семьи, по точному выражению Н. К. Шильдера, "как новое нарушение его законных прав. Чаша терпения Павла Петровича переполнилась, сердце прониклось желчью, а душа гневом". Разумеется, он не мог удержать своих чувств, и "добрые отношения матери к сыну испортились вконец и на этот раз безвозвратно".

Заграничное путешествие

В 1781 г. Екатерине II удалось заинтересовать великокняжескую чету через близких к ней лиц в путешествии в Австрийскую империю с ее итальянскими владениями. Предполагалось, что оно послужит сближению с этой страной, которая могла бы оказать содействие России в борьбе с Турцией за Северное Причерноморье. Павел и Мария Федоровна с охотой откликнулись, но просили согласия императрицы на посещение в ходе путешествия и Пруссии. В дальнейшем его маршрут был расширен за счет других европейских стран, но Пруссия была из них решительно исключена. И не потому только, что к тому времени стали сильно портиться отношения России с Пруссией. Екатерина II хотела при этом досадить Н. И. Панину — давнему и убежденному приверженцу российско-пруссского союза и так называемой "Северной системы". Но вместе с тем она не желала поддерживать в Павле уже ярко

проявившейся тогда симпатии к Фридриху II и вообще к прусским военным и общественным порядкам.

Однако внешнеполитические соображения играли здесь далеко не единственную роль. Рассчитывая на длительное отсутствие сына и невестки в Петербурге (их путешествие под именем графов Северных продолжалось более года — с сентября 1781 по ноябрь 1782), Екатерина стремилась хотя бы на время отдалить их от подрастающих сыновей, своим монопольным влиянием на которых она дорожила превыше всего. Великокняжеская чета почувствовала тут что-то недоброе, тревога и подозрения омрачили отъезд, придав ему окраску чуть ли не ссылки, Павел полагал, по словам Н. К. Шильдера, "что императрица преднамеренно желает удалить его за границу для достижения каких-либо сокровенных целей".

Во время пребывания за рубежом раздосадованный и оскорбленный Павел в разговорах с царственными особами резко осуждал режим Екатерины II и ее политику, допуская даже личные выпады против матери, не скупился он и на обличения ближайших сановников императрицы — своих исконных недоброжелателей, называя поименно Г. А. Потемкина, братьев А. Р. и С. Р. Воронцовых, А. В. Безбородко.

Из конфиденциальных источников Екатерине II стало известно о несдержанности Павла, и нетрудно было догадаться, какая реакция последует с ее стороны. К тому же доверие к великому князю было сильно подорвано еще одним сокровенным обстоятельством, непредвиденно всплывшим на поверхность как раз в бытность его за границей.

Среди приближенных к Павлу числился флигель-адъютант императрицы полковник П. А. Бибилов — сын генерал-аншефа А. И. Бибилова, маршала знаменитой Уложенной комиссии 1767-1768 гг., руководившего подавлением Пугачевского восстания и тогда же, в 1774 г., умершего. Он был теснейшим образом связан с братьями П. И. и Н. И. Паниными. Н. И. Панин еще в юношеские годы Павла ввел А. И. Бибилова в его круг. Сохранились письма великого князя к А. И. Бибилову, исполненные

дружеских и теплых чувств, А. И. Бибииков был на стороне наследника и его окружения в их противоборстве с Екатериной II. А. С. Пушкин писал в "Замечаниях о бунте", что "Бибиикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя", и что "он не раз бывал посредником" между императрицей и великим князем. Пушкин же свидетельствовал, что "свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция были известны". Бибииков-сын, несомненно унаследовавший политические пристрастия отца, также входил в "партию" наследника, состоя, в частности, в особо близких отношениях с другом детства и единомышленником Павла князем Александром Борисовичем Куракиным. Куракин сопровождал Павла в заграничном путешествии, и в начале апреля 1782 г. П. А. Бибииков отправил ему со специально посланным курьером крайне доверительное письмо, полное скрытых инвектив в адрес екатерининского правления: "Кругом нас совершаются дурные дела", и надо быть абсолютно "бесчувственным, чтобы смотреть хладнокровно, как отечество страдает", отчего "разрывается сердце". Не скрывал автор письма и личной неприязни к Г. А. Потемкину зашифровав его имя общепринятым, видимо, в панинском кругу прозвищем: "Кривой, по превосходству над другими, делает мне каверзы и неприятности". Как ни мрачно "грустное положение всех, сколько нас ни есть, добромыслящих, имеющих еще некоторую энергию", только этими "добро-мыслящими", их желанием и способностью действовать и поддерживается "надежда на будущее и мысль, что все примет свой естественный порядок". В сочетании же с заявленной автором в конце письма готовностью "найти случай", чтобы "доказать их императорским высочествам" свою привязанность и преданность "не словами, а делом", способы осуществления этих "надежд" обретали более чем многозначительный смысл.

Властям удалось задержать курьера в Риге и тайно снять с письма копию, отправленную тотчас же Екатерине. Как только курьер продолжил свой путь, в Петербурге был арестован П. А. Бибииков, и над ним учинено следствие, направляемое самой императрицей, но никаких новых

сведений, порочащих его и близких к нему людей, оно не дало. Уже в конце апреля 1782 г. П. А. Бибилов был сослан в Астрахань, а его адресата, А. Б. Куракина, Екатерина распорядилась выслать в родовое саратовское имение.

Еще до окончания следствия она известила Павла за границей об аресте П. А. Бибилова "по причине предрзостных его поступков, кои суть пример необузданности, развращающей все обстоятельства", ибо письмо его к А. Б. Куракину наполнено "столь черными выражениями" и "самой одной злобой против вашей матери", что служило и укором, и выговором, и суровым предостережением Павлу.

Письмо П. А. Бибилова не просто приоткрыло завесу над атмосферой, питавшей оппозиционные настроения сына. Оно позволило Екатерине воочию убедиться в опасности зреющих в его окружении политических устремлений. Ведь под "добромыслящими" императрица без труда могла угадать сторонников великого князя, под "надеждой" — перспективу его возведения на престол, а под "естественным порядком" — устранение пороков ее царствования благодаря преобразованиям, которые провел бы, будучи на троне, Павел. Так или иначе, Екатерина II почувствовала в бибиловском письме симптом возможного переворота в пользу сына. Разумеется, императрица опасалась не автора письма — одного из своих флигель-адъютантов, а тех важных государственных персон, которые стояли за великим князем. Прежде всего это сам лидер "добромыслящих", многоопытный граф Н. И. Панин, в мае 1781 г. отрешенный от руководства Коллегией иностранных дел, но не утративший еще своего государственного престижа и продолжавший пользоваться громадным влиянием на Павла, его брат, виднейший военачальник П. И. Панин, боевой генерал Н. В. Репнин, слывший приверженцем великого князя, наконец явно сочувствовавший ему знаменитый полководец фельдмаршал П. А. Румянцев.

Екатерина, однако, ошибалась — в письме П. А. Бибилова выразились лишь враждебные ей умонастроения, нетерпеливые ожидания сторонников Павла, и не более того. В период заграничного путешествия

в его окружении вообще оживились подобные ожидания. Н. В. Репнин, с которым Павел обсуждал предстоящее путешествие, писал ему в 1781 г.: "Сделать счастливой страну, управлять которой Вам придется в будущем , — бесспорно, первая из обязанностей Вашего Императорского высочества, а это путешествие само по себе облегчает Вам возможность приобрести познания средств для достижения этой цели" (курсив мой. — А. Т.).

Никаких, однако, признаков организации дворцового переворота за этим не скрывалось. Да и Н. И. Панин по своим политическим убеждениям и характеру на насильственный заговор против Екатерины II никогда бы не решился. При всем своем недружелюбии к матери не способен был пойти на тайный политический заговор и Павел с его ставкой на законность и твердыми нравственными постулатами. Сама мысль об участии в каких-либо дворцовых раздорах, опирающихся на военную силу, по одной только ассоциации с 1762 г. была для него неприемлемой.

Но и реального содержания письма П. А. Бибикова оказалось достаточным, чтобы вызвать недовольство императрицы Н. И. Паниным и его "партией".

Неудивительно после всего сказанного, что при возвращении Павла ждал более чем холодный прием и на некоторое время он был даже вынужден прекратить отношения с Н. И. Паниным и его окружением.

Это резко контрастировало с тем, как встречали Павла за границей, где он был в центре всеобщего внимания и где ему как наследнику российского престола оказывались в европейских столицах всяческие почести.

В гатчинском отчуждении

Не прошло и года после его возвращения из заграничного путешествия, как Екатерина II предпринимает еще один шаг, призванный отвлечь Павла от его царственных замыслов и как бы уже территориально отдалить его. 6 августа 1783 г. она дарует сыну мызу Гатчина с окрестными деревнями, выкупленную у наследников недавно

скончавшегося Григория Орлова. С этого времени начинается новый, продолжавшийся тринадцать лет период жизни великого князя, когда он всецело предается в качестве гатчинского помещика хозяйственным заботам и благотворительной деятельности, перестройке дворца и парковых сооружений, устройству своих художественных коллекций, наконец, формированию на прусский манер собственных войск и военным экзерцициям. В наибольшей мере удаленный теперь от государственных дел, погруженный в мрачные размышления о выпавшей на его долю участи, отчужденный со своим "малым двором" от большого и блестящего двора императрицы, испытывавший нарастающий с годами страх за свою жизнь, Павел окончательно замыкается в своем частном существовании. Но и это не избавило его от деспотической опеки матери.

В сентябре 1787 г. разразилась новая война с Турцией, и Павел, остро переживавший свою не востребованность, в порыве патриотических чувств решил испытать себя на воинском поприще и обратился к Екатерине II с просьбой о дозволении отправиться на театр боевых действий. У Екатерины II были на сей счет, однако, свои соображения. Она уже тогда имела твердые взгляды на будущее сына и была вовсе не заинтересована содействовать его военной популярности, в то же время Екатерина хотела избавить командовавшего русскими войсками на юге России Потемкина от конфликтов с неладившим с ним великим князем. Под разными предлогами Екатерина откладывала свой ответ, а затем и вовсе отказала сыну в его просьбе. Между тем приближалось лето 1788 г., Павел продолжал настаивать, внезапно король Швеция Густав III объявил России войну, и тут императрица смилостивилась. Правда, на вопрос великого князя: "Что скажет обо мне Европа?" — она ответила: "Европа скажет, что ты послушный сын". Она разрешила ему отправиться, но уже не на Юг, к Потемкину, а на Север, в Финляндскую армию. Через некоторое время, однако, Екатерина узнала, что шведский принц Карл ищет случая сблизиться с Павлом, и, хотя тот отвергнул эти попытки, незамедлительно отозвала его в Петербург. При этом Екатерина не только не пожаловала Павлу никакой награды (а царственные особы,

находясь в действующей армии, обычно ее удостаивались), но приняла все меры к тому, чтобы само пребывание Павла в войсках не получило огласки. В газетах не появилось никаких сообщений об отъезде его в армию и возвращении в столицу, как то было принято в отношении даже рядовых офицеров, в официальных же реляциях в ходе военных операций имя Павла упоминалось всего один раз. Когда при возобновлении войны в Финляндии весной 1789 г. Павел стал снова добиваться разрешения отправиться в армию, Екатерина с явной насмешкой, почти в издевательском тоне посоветовала ему разделить радость от предстоящих успехов русских войск в кругу "своего дорогого и любезного семейства", дабы избавить близких от беспокойства за его жизнь. Более того, Екатерина постаралась и в глазах общества придать военным устремлениям Павла трагикомический характер. В 1789 г. в Эрмитажном театре была поставлена (и в том же году напечатана) ее комическая опера "Горе-богатырь Косометович". В ней иронически изображалась коллизия между взрослым недорослем и его матерью: он просит ее отпустить его на войну, мать то отказывается, то соглашается, то возвращает сына, попутно зло высмеивались неудачливые похождения на войне этого горе-богатыря. Многие современники, в том числе такие авторитетные литераторы, как И. И. Дмитриев и М. Н. Муравьев, увидели в комедии прозрачную сатиру на великого князя.

Можно догадаться, какое унижение и какую пропасть между собой и матерью должен был почувствовать преданный публичному осмеянию Павел — далеко уже не юноша, зрелый муж 35 лет от роду, отец многочисленного семейства.

"Кумир своего народа"

Соперничество Екатерины II и Павла в правах на престол получило заметный отзвук и за пределами Зимнего дворца, Павловска или Гатчины. Выше мы уже касались этого сюжета, когда речь шла о влиянии на Павла самозванческих лозунгов Пугачева. Теперь остановимся и на других проявлениях реакции социальных "низов" на династическую

борьбу в верхах.

Популярности Павла в этих слоях населения, несомненно, способствовало распространение в народной среде второй половины XVIII в. легенды о царе Петре III — "избавителе". И Павел закономерно воспринимался массовым сознанием как его "заместитель", носитель его качеств и продолжатель его миссии. В очень большой степени эта популярность подогревалась и жертвенным ореолом самого Павла — его беспрецедентно долгим пребыванием в положении отрешенного от государственных дел, не любимого и всячески притесняемого матерью и ее фаворитами законного наследника престола. Свидетельством устойчивости народных симпатий к Павлу может служить тот факт, что еще при своей жизни, в бытность цесаревичем, он уже стал героем самозванческой легенды — случай достаточно редкий в истории самозванческого движения в России. Так, в 1782 г. великим князем Павлом Петровичем публично объявил себя на Дону беглый солдат Н. Шляпников, а два года спустя этим же именем и титулом принародно называл себя сын пономаря из казаков Г. Зайцев.

Особо зримо расположение к Павлу на фоне недовольства Екатериной II проявлялось в Москве — древней, но опальной и строптивой столице империи, где фрондирующее дворянство не скрывало своего почитания Петра III с его манифестом о "вольности дворянской". Когда в 1775 г., после подавления Пугачевского восстания, сюда приехали Екатерина и Павел, то восторженная толпа устроила ему овацию, она же была встречена с подчеркнутой холодностью. "Павел — кумир своего народа", — доносил своему правительству в том же году австрийский посланник в России. В 1787 г. сам Павел в доверительном разговоре с прусским посланником Келлером рассказывал, что "каждый раз, когда выходит во время своего пребывания в древней столице, он видит себя окруженным народом". По этому поводу Келлер заметил, что если "голос народа провозгласил бы его своим избранником, то он не воспротивился бы желаниям народа". Андрей Разумовский, бывший свидетелем радушной встречи Павла жителями Москвы, в 1775 г. сказал ему: "Вы видите, как

вы любимы, ваше высочество. Ах, если бы вы дерзнули..." Павел, однако, не "дерзнул", ибо занятие престола на гребне стихийной народной поддержки неизбежно сопрягалось с насильственным устранением Екатерины II. Да и в народной любви он вовсе не был так уж уверен. В том же разговоре с Келлером Павел признался: "Ну, я не знаю еще, насколько народ желает меня; я в этом отношении не делаю себе никаких иллюзий. Многие ловят рыбу в мутной воде и пользуются беспорядками в нынешней администрации, принципы которой, как многим, без сомнения, известно, совершенно расходятся с моими". Из этого следует, кроме всего прочего, что истоки своей популярности в народе Павел усматривал в глубоких расхождениях с матерью, в осуждении им "принципов" ее политики и беспорядков в управлении страной.

Народ тем не менее и в самом деле "желал" видеть его на престоле, и брожение в пользу этого в низовых слоях населения не прекращалось во все царствование Екатерины II, во все тридцать четыре года пребывания Павла наследником.

Важно при этом иметь в виду, что закулисные перипетии дворцового переворота 1762 г. и последующей борьбы вокруг трона, противостояние различных группировок, их намерения, расклад политических сил — все это, хотя и в искаженном глухими слухами виде, доходило до "низовых" слоев.

Так, уже в конце 1760-х гг. капитан одного из гвардейских полков Панов, хваля великого князя, говорил, что Орловы "батюшку его уходили, дай-ка ему покровителя, так отольются волку коровьи слезы. Мщения и ныне ожидать должно, потому что Панина партия превеликая". Примерно тогда же гвардейский корнет Батюшков распространялся среди сослуживцев: "Вот-де, когда цесаревич вырастет, то верно спросит, куда батюшку-то его девали, а там-де Бог Орловым за это заплатит". В гвардейских полках шли разговоры и о том, что "государыня венчана с графом Орловым" (или что она "хочет выйти за муж" за него), а "Орловы хотят убить Павла", Екатерина же "на это согласна", что "у него

очень много недоброхотов". "Великого князя хотят извести" — так говорили между собой и солдаты.

Неудивительно, что на почве таких настроений то и дело вспыхивали стихийные порывы к замене на престоле Екатерины Павлом.

Еще в 1763 г., в дни ее коронации, когда из-за болезни девятилетний Павел не мог участвовать в торжествах в Москве и некоторое время не появлялся в Петербурге на людях, возникли стихийные волнения, и возмущенные солдаты кричали перед дворцом: "Да здравствует император Павел Петрович!" Нечто подобное произошло и летом 1771 г. Из-за простудной лихорадки Павел в течение пяти недель не выходил из своих покоев — и тут же поползли регулярно возобновлявшиеся в России в подобных ситуациях слухи об отравлении наследника. Возгласы с требованием возмездия дошли до дворца, возбуждение толпы перекинулось в казармы, солдаты схватились даже за оружие, не зная, правда, против кого именно его следовало направить.

В разгар войны с Турцией упомянутый выше корнет Батюшков уговаривал нижних офицерских чинов подписывать присяжной лист в верности "государю всероссийскому императору Павлу Петровичу, а нынешнему правлению быть противну". По свидетельству берейтора конного полка Штейгерса, тот же Батюшков говорил сослуживцам о Павле, что "он уже в лета приходит, так лучше бы ему государствовать, нежели женщине". В 1772 г. разговоры в пользу Павла велись офицерами среди нижних чинов гвардии. Раздавались предложения "возвести на престол великого князя Павла Петровича, к чему склонить солдат", а "два капрала" и подпоручик Семхов "согласились содействовать. Стали подготавливать других, рассуждать, как вывезти великого князя из Царского Села". Сходные намерения высказывались и гренадерами: "Мы его высочество поскорее императором сделаем". Солдаты решили даже через камергера Барятинского "разведать мысли его высочества", а "затем увезти Павла в полк". Сквозь эти смутные, казалось бы, слухи проступают и реально исторические черты эпохи — речь, несомненно, идет здесь об И. С. Барятинском, одном из приближенных к Павлу до

первой женьбы придворных, постоянном его собеседнике и советнике.

Как видим, наибольшая активность в движении за устранение Екатерины II и возведение на престол Павла в данном случае проявилась в столичной среде, в кругу гвардейских офицеров, увлекавших за собой и солдат. И дело было, конечно, не в каком-то исключительном почитании Павла-наследника именно в этой среде. В данном феномене, бесспорно, просматривается влияние весьма удачливой и всем еще памятной практики дворцовых переворотов предшествующих десятилетий, когда при опоре на гвардию сравнительно легко и безболезненно происходило низложение одного монарха и возведение другого, когда к власти приходили совершившие такой переворот лица и стоявшие за ними политические группировки. Кстати, упомянутый выше И. С. Бярятинский — при Петре III его флигель-адъютант — был замешан в дворцовом перевороте 1762 г., а родной брат его, Ф. С. Бярятинский, был, как уже отмечалось, свидетелем, если не соучастником, умерщвления Петра III.

Не менее симптоматично и явное оживление "пропавловских" настроений в начале 1770-х гг. — как раз в то время, когда великий князь достиг совершеннолетия и в придворно-правительственных верхах обострилось противоборство по поводу его прав на престол.

Однако подобного рода настроения (притом что об участии Екатерины II высказывались по-разному: то вообще ее "зарезать", то постричь в монахини, то оставить в покое) обнаруживали себя и в последующие годы, а географически охватывали не одну только столицу. Молва о явлении Павла-"избавителя" имела широкое хождение на Урале и в Сибири. Даже на далекой Камчатке отголоски этой легенды прозвучали достаточно явственно. Когда здесь в начале 1770-х гг. вспыхнул известный бунт русских и польских ссыльных, то возглавивший его М. Бениовский действовал именем Павла Петровича, говорил о возможной амнистии в случае его вступления на престол, местному населению проповедовал, что оно страдает за привязанность к великому князю, а весной 1771 г. восставшие привели жителей к присяге императору Павлу. Но, быть может, особенно знаменательно, что толки и чаяния о

возведении Павла на престол продолжали расходиться и в самом 1796 г. — буквально накануне его действительного воцарения.

Летом этого года во многих местах Украины, в Елисаветграде, в Новороссийской и Вознесенской губерниях вдруг разнесся слух о восшествии на трон Павла Петровича. Несколько подозреваемых было схвачено и отдано под суд, но виновников первоначального распространения крамолы так и не нашли. В официальных бумагах по этому поводу было весьма многозначительно замечено: "...от кого именно начало возымел сей слух, не доискано, а видно глас народа — глас Божий".

Серединой 1790-х гг. датируется еще один очень важный в этом отношении документ.

Речь идет о социальной утопии "Благовесть", принадлежавшей перу публициста и мыслителя демократического толка А. Еленского. Выходец из Белоруссии — из обедневшей шляхетской семьи, прошедший суровую жизненную школу, Еленский по роду своих занятий и условиям быта был близок к нарождавшемуся в России "третьему сословию", а по духовным исканиям, религиозному миросозерцанию, по житейским связям примыкал к староверческой оппозиции. В 1790 г., после долгих скитаний, он поселился в Петербурге и в мае 1794 г. был арестован за сочинение и распространение некоего "ложного манифеста".

В "Благовести", написанной им незадолго до ареста, содержалась обличительная критика феодально-абсолютистских порядков и рисовалась идеальная картина будущего общественного устройства, исключая социальные антагонизмы и присвоение в какой-либо форме чужого труда, с монархией, ограниченной народным представительством. По плану Еленского, полагавшего переход к новому строю по преимуществу безнасилованным, депутатам от различных слоев населения надлежало собраться в Петербурге 1 сентября 1796 г. для вручения Павлу и подписания им "Благовести", после чего должно было состояться его венчание как всенародно избранного царя. Одновременно с "Благовестью" было составлено дополняющее ее

"Письмо к царице" с требованием к Екатерине II отречься от престола в пользу сына. Предполагалось, что "Письмо" будет вручено императрице в тот же день — 1 сентября 1796 г. — с тем, чтобы, застав ее врасплох, поставить уже перед совершившимся фактом подписания Павлом "Благовести".

Любопытно, что с первых же строк "Письма" Еленский характеризует пребывание Екатерины II на престоле как "временное управление, в котором... и лишние годы изволили царствовать", и далее обвиняет ее в том, что она позволила себе "царство двадцать лет незаконно держать, ибо изволила присягать только на 14 лет, а то без царя 20 лет государство состоит" (курсив мой. — А. Т.). Совершенно очевидно, что в этих хронологических выкладках рубежом между двумя принципиально различными с точки зрения "легитимности" периодами царствования Екатерины II служит, по Еленскому, совершеннолетие Павла (с поправкой на извинительную для него ошибку в исчислении дат: не 14 лет — 1776 г., а 10 лет — 1772 г.).

Этот пассаж наглядно демонстрирует, как своеобразно преломлялись в массовом сознании циркулировавшие в верхушечных слоях русского общества политические мнения. То, что было в свое время чрезвычайно актуально для двора и столичной аристократии, продолжало жить в народных представлениях и треть века спустя. Все как бы возвращалось "на круги своя". В самом деле, ведь за рассуждениями Еленского о "временном правлении" Екатерины II, на которое только она и присягала, и о "лишних годах", когда она занимала трон "незаконно", стоит не что иное, как укоренившееся среди оппозиционных императрице общественных сил еще со времени дворцового переворота, 1762 г. убеждение в отсутствии у нее династических прав, о нелегитимности ее притязаний на престол. Мы видим здесь также отражение расходившихся с тех пор при дворе и за его пределами слухов о регентстве Екатерины II при Павле, об ее обещании передать престол сыну по его совершеннолетию и т. д.

Но самое, пожалуй, замечательное во всей истории "Благовести", это то,

что сам Павел еще задолго до того срока, когда ему предстояло подписать ее, уже был ознакомлен с содержанием утопического проекта Еленского. Прямой намек на чтение Павлом "Благовести" находится в самом ее тексте. Скорее всего это произошло в 1794 г. — еще до ареста Еленского, ибо на следствии ему удалось утаить "Благовесть" и официально она стала известна властям лишь летом 1797 г., в Соловецком монастыре, где автор ее отбывал заключение. Когда же вслед за тем "Благовесть" была отослана Павлу местным архимандритом, заклеившим ее как "клонящееся к возмущению и вольности народной" сочинение, то недавно воцарившийся император странным образом проявил полную невозмутимость, не выказал ни малейшего недовольствия и передал "Благовесть" с другими бумагами Еленского начальнику Тайной экспедиции А. Б. Куракину с предписанием "из того не делать дальнейшие употребления".

Итак, о возвещенных "Благовестью" планах возведения его на престол Павел, без сомнения, хорошо знал. Но был ли он осведомлен о других подобного рода толках, расходившихся в народной среде — тогда и в предшествующий период, в частности, о многочисленных разговорах в пользу его династических прав в военно-"низовых" слоях 1760— 1770-х гг. — на сей счет сколь-нибудь точными сведениями мы пока не располагаем.

Зато достаточно осведомлена об этих толках и разговорах была Екатерина II. Они становились ей известными благодаря тому, что попадали в поле зрения администрации, сурово каравшей "разглашателей", над ними учреждалось следствие, документация которого скапливалась в Тайной экспедиции и, как правило, доводилась до сведения императрицы. Она пристально следила за ходом таких дел, направляла их, просматривала протоколы допросов и т. д.

Теперь можно лучше понять глубинные мотивы настороженности Екатерины II к Павлу-наследнику. Если пугачевский взрыв начала 1770-х гг. был, бесспорно, самым грозным, но ушедшим в прошлое эпизодом, то вспыхивавшие время от времени в течение нескольких десятилетий

стихийные порывы "низов" к возведению Павла на престол, непрекращающееся, употребляя выражение Е. С. Шумигорского, "народное противопоставление интересов великого князя интересам императрицы" придавали этой коллизии привкус особой социальной остроты. Смыкание, взаимовлияние массовых "пропавловских" устремлений и попыток придворной оппозиции оспорить в пользу наследника ее право на трон держали Екатерину II (как бы она это внешне ни скрывала и каким бы блестящим ни выглядело ее царствование) в состоянии глубоко затаенного страха, не позволяя ей выпускать сына из поля своего бдительного внимания.

Цесаревич и масоны

Особую подозрительность Екатерины в последние годы жизни вызывала в этом смысле связь Павла с масонами.

В первые пятнадцать — двадцать лет своего царствования она относилась к масонским ложам, возникшим в России еще в 30-40-х годах XVIII в., если не благожелательно, то достаточно терпимо. Правда, Екатерина с ее "вольтерьянством" и ясным практическим умом не могла всерьез воспринимать туманный мистицизм, средневековую обрядность и всякого рода таинства "вольных каменщиков". По словам Н. М. Карамзина, императрица "сперва только шутила над заблуждением умов и писала комедии, чтобы осмеивать оное".

Однако под этим благодушно-презрительным покровом масонство получило на русской почве значительное распространение, прежде всего в столицах, но отчасти и в провинции. К концу 1770-х годов масонскими ложами различных систем были охвачены широкие слои дворянства. По наблюдению известного историка, знатока русского масонства Г. В. Вернадского, к этому времени "оставалось, вероятно, не много дворянских фамилий, у которых не было бы в масонской ложе близких родственников". Масонское братство включало в себя немало выходцев из родовитой и титулованной аристократии, близких ко двору сановников, крупных чиновников, военных, дипломатов, ученых,

артистов, литераторов и т. д., но уже тогда в масонской среде были заметны и фигуры разночинцев, купцов и даже священников. При всей идейной, структурной и социокультурной разнородности масонские ложи этой эпохи сходились на неприятии, с одной стороны, рационализма и атеизма французской материалистической философии, а с другой — ортодоксального православия с его зависимой от государства церковной организацией. Масонство было в этом отношении выражением внецерковной религиозности, являясь не богоцентричным, а человекоцентричным вероучением. Его адепты стремились к преодолению сословно-кастовых и национальных перегородок между людьми, к созиданию свободного от пороков общественного устройства человека посредством нравственного совершенствования, самоочищения, самопознания и широчайшего просвещения на пути обретения идеалов истинного христианства. По меткому определению П. Н. Милюкова, масонство второй половины XVIII в. — это "толстовство своего времени".

Неудивительно, что масонские ложи стали прибежищем для лучшей части тогдашней интеллигенции, для всех духовнострадающих, критически настроенных к официальной идеологии и злоупотреблениям политики Екатерины II и ее администрации, к аморализму ее бытового и государственного поведения.

С начала 1780-х гг. масонское движение в России перемещается в Москву и сосредотачивается вокруг замечательного русского просветителя — писателя, журналиста, переводчика, книгоиздателя Н. И. Новикова и его единомышленников (И. Г. Шварца, И. В. Лопухина, С. И. Гамалея, И. П. Тургенева и др.). Они составляли руководящее ядро учрежденного как раз в это время в Москве "Ордена розенкрейцеров" — одной из высших степеней в европейском масонстве. Кружок московских мартинистов (это название закрепилось за ними благодаря их приверженности учению французского философа-мистика Л. К. Сен-Мартена, автора нашумевшей книги "О заблуждениях и истине") развернул небывалую до того в России по размаху общественно-просветительскую и филантропическую деятельность через учрежденные

ими Дружеское ученое общество, Типографическую компанию, частные масонские типографии и т. д. Московские розенкрейцеры на собственные средства основывали бесплатные больницы, аптеки, школы, общественные библиотеки, издавали газеты, журналы, сотни книг немалыми для того времени тиражами по самым разным отраслям знаний, в том числе и масонскую литературу религиозно-нравоучительного и мистического содержания. Новиковым и его сотрудниками была налажена разветвленная книготорговая сеть, причем не только в Москве и Петербурге, но и во многих провинциальных городах. Ориентируясь на домашнее и школьное образование, впервые в таких масштабах приобщая грамотную русскую публику к систематическому и серьезному чтению, Новиков со своими соратниками на несколько десятилетий вперед двинул дело русского просвещения. Кульминацией общественной активности новиковского кружка явилась помощь сотням голодающих крестьян в неурожайный 1787 г.

К московским мартинистам, к новиковскому "изводу" в масонстве более всего применима характеристика Н. А. Бердяева: "Масонство было у нас в XVIII в. единственным духовно-общественным движением, и в этом отношении значение его было огромно": оно стало "первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью". Именно это значение независимой от правительства, открыто действующей и весьма влиятельной общественной силы, своими благотворительными и просветительскими предприятиями бросившей, в сущности, вызов властям, оказалось для Екатерины II совершенно неприемлемым и побудило ее перейти от чисто литературных форм борьбы с мартинистами к более жестким. Тем более что Екатерине хорошо было известно о "несочувствии" московских розенкрейцеров к ней лично и ее правлению, равно как и о тесных их связях с масонскими кругами при шведском и прусском дворах, отношения которых с Россией становились в 1780-х гг. все более напряженными, а порою и просто враждебными.

В литературе иногда преследование императрицей новиковского кружка

связывается с началом 1790-х гг. и рассматривается как одно из проявлений реакции екатерининского правительства на события французской революции. Но гонения на московских мартинистов начались задолго до того.

Так, изданный еще в 1782 г. Устав Благочиния запрещал любое не утвержденное законом "общество, товарищество, братство" — мера, явно метившая в масонские ложи. Указами 1784 г. Екатерина пыталась урезать права Новикова на издание ряда книг неугодной ей тематики. В 1785 г. последовал указ императрицы о составлении росписи всех новиковских изданий и ревизии их — с тем, чтобы впредь не появлялись книги, в которых так или иначе затрагивались социально-политические идеи масонов — их "колобродство, нелепые умствования и раскол". Одновременно архиепископу Платону предписывается испытать Новикова в православной вере — это было первым серьезным предостережением ему лично. В 1786 г. императрица повела наступление и на благотворительную деятельность московских мартинистов, повелев взять под административный надзор частные школы и больницы и вообще установить наблюдение за всеми учреждениями новиковского кружка. 27 июля 1787 г. было запрещено в светских типографиях печатать, а в конце года продавать в частных книжных лавках сочинения, так или иначе касавшиеся Церкви и Священного писания. В 1788 г. последовал запрет Екатерины на аренду Новиковым типографии Московского университета, которая с 1779 г. служила базой всех его издательских предприятий, — это уже поставило новиковский кружок на грань разорения. Окончательному же разгрому он был подвергнут, как известно, весной и летом 1792 г., когда Новиков был арестован. Поводом послужило подозрение в издании запретных книг и содержание тайной типографии в его имении Авдотьино. Вместе с ним к следствию были привлечены и другие видные московские мартинисты.

Не следует, однако, думать, что Екатерина II при всем этом руководствовалась одним лишь стремлением задушить кружок московских мартинистов как самостоятельную идейно-общественную

силу, не вписывающуюся ни в абсолютистскую систему, ни в официальную церковную идеологию. Дело было также и в том, что императрица не без оснований почувствовала в их умонастроениях и практических действиях нечто для себя, еще более опасное — их притязания на непосредственные сношения с наследником престола, что уже прямо затрагивало "святая святых" ее царствования — ее собственные династические права.

Будучи наследником, великий князь Павел Петрович был весьма популярен среди масонов. Их привлекали и его нравственные качества, еще не деформированные, сложными обстоятельствами его последующей жизни, и некий ореол мученичества, проистекавший из его двусмысленного положения при дворе узурпировавшей престол матери, и его благотворительные усилия по облегчению участи гатчинских крестьян и солдат. "Исправление нравов общества" как один из важнейших пунктов масонской программы естественным образом связывалось с личностью просвещенного государя, который уже одним своим нравственным примером мог, как никто другой, способствовать достижению этой цели. Павел и представлялся московским мартинистам именно такой идеальной фигурой на троне. Свои надежды они поэтому всецело возлагали на то, что цесаревич рано или поздно займет российский престол. Пока же они всячески стремились заручиться его покровительством. Свои ожидания московские мартинисты выражали едва ли не публично. В рукописных сборниках масонов и в их печатных изданиях расходилось немало стихотворных панегириков, обращенных к Павлу. Так, в 1784 г. в одном из журналов новиковского кружка появилась масонская песня (ее авторство приписывалось И. В. Лопухину), недвусмысленно признававшая Павла будущим российским монархом:

С тобой да воцарится
Блаженство, правда, мир,
Без страха да явятся

Пред троном нищ и сир,

И далее следовал припев, как рефрен повторявшийся в других строфах:

Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом.

Вообще— то в этом или в подобных случаях не было, казалось бы, ничего предосудительного, поскольку Павел являлся официальным наследником престола. Однако при живой, активно действующей и еще весьма далекой от преклонного возраста императрице, овеванной к тому же культом всеобщего почитания, это звучало не просто вызовом, но вопиющей политической бестактностью, болезненно задевавшей ее царственные чувства.

Вместе с тем участники новиковского кружка хотели видеть цесаревича среди своих "братьев"-масонов с тем, чтобы в будущем масонская организация составляла бы священную охрану своего государя, а до того защищала бы цесаревича от угрожавших ему придворных интриг и иных напастей. Ведь перед их взором были уже апробировавшие себя прецеденты "коронованных масонов" — в Стокгольме царствовал приверженец шведского масонства Густав III, а в Пруссии короля-"вольтерянца" Фридриха II сменил на престоле в 1786 г. склонный к мистицизму, ревностный масон-розенкрейцер Фридрих-Вильгельм.

Намерения на этот счет московских масонов были достаточно серьезны. Летом 1782 г. в Вильгельмсбаде состоялся общемасонский конвент, на котором Россия была объявлена VIII (из общего числа IX) провинцией европейского масонства. Когда вскоре в том же 1782 г. руководитель русских розенкрейцеров И. Г. Шварц приступил к организации ее высших органов, то первая по своему значению должность Великого провинциального мастера была оставлена вакантной — для замещения ее цесаревичем Павлом, которого, таким образом, московские розенкрейцеры хотели видеть главой русского масонства. Этот замысел

не был реализован, но вопрос о занятии цесаревичем поста Великого мастера обсуждался ими и в последующие годы, по этому поводу они вели переписку со своими прежними наставниками по ордену розенкрейцеров и даже посылали с этой целью в Берлин своих эмиссаров.

Возможно, в какой-то мере с этим связаны контакты новиковского кружка с Павлом через посредство известного архитектора (и розенкрейцера с 1784 г.) В. И. Баженова — давнего и близкого друга цесаревича, участвовавшего позднее в строительстве Михайловского замка, но контакты эти могли иметь под собой и более глубокую политическую подоплеку.

Первая поездка Баженова к Павлу в Петербург была предпринята в конце 1784 — начале 1785 г. для установления более тесных отношений с наследником и, очевидно, для введения его в курс намерений розенкрейцеров. Тем более что Павлу они были уже хорошо известны, в частности, сам Новиков, который свой знаменитый "Опыт словаря русских писателей", выпущенный еще в 1772 г., посвятил цесаревичу — знаменательно, что в год его совершеннолетия, да и позднее подносил ему свои издания. Павел мог многое знать о Новикове и по его давним отношениям с ближайшими к себе людьми. Еще в середине 1770-х гг. Новиков познакомился в Союзной ложе Елагина-Рейхеля с соучеником и любимцем Павла А. Б. Куракиным, завязал тогда же знакомство с Н. И. Паниным и Н. В. Репниным, который впоследствии более тесно сблизился с новиковским кружком.

Павлу был послан тогда с Баженовым ряд важных масонских сочинений религиозно-мистического толка, трактовавших вместе с тем и вопросы государственного характера. По возвращении Баженов, принятый цесаревичем, по его словам, "весьма милостиво", представил Новикову бумагу с подробным изложением бесед с Павлом. Остротой своего содержания она не на шутку напугала Новикова — "не верили всему, что написано", сперва он готов был даже "от страха" ее сжечь и знакомил с ней позднее своих друзей-масонов по сильно отредактированному и

сокращенному тексту. Бумага эта давала весьма отчетливое представление об "образе мыслей" наследника и, по всей видимости, содержала в себе его критические высказывания в адрес правления Екатерины II с жалобами на свое опальное при ней положение. Вероятно, она сопровождалась и сочувственными — в духе воззрений новиковского кружка — комментариями самого Баженова. Скорее всего именно об этом эпизоде вспоминал позднее весьма осведомленный по своей близости к масонам Д. П. Рунич (его отец, П. С. Рунич, был знаком с Новиковым и переписывался с ним): "Баженов описывал стеснение, в котором наследник находится".

Вторая его поездка относится к 1787 г., когда он повез Павлу уже лично переданные для него Новиковым масонские книги, которые и на сей раз были "приняты благожелательно", наследник только, видимо обеспокоенный начавшимися гонениями на московских мартинистов, упорно расспрашивал Баженова, нет ли среди них "ничего худого".

Но уже в третью поездку в Петербург, на исходе 1791 -го — начале 1792 г., Павел встретил Баженова с "великим гневом", выразил крайнее недовольство мартинистами, предостерег от общения с ними, запретил даже упоминать о них в своем присутствии.

В связи со сказанным выше возникает естественный вопрос: а был ли сам Павел масоном? В исторической литературе он не раз вызывал споры и до сих пор остается не вполне разъясненным.

Еще первый биограф Павла Д. Ф. Кобеко отвечал на этот вопрос отрицательно, полагая, что хотя наследник и знал о новиковском кружке и других масонских объединениях, но "не был членом ни одной масонской ложи и не посещал масонских собраний". Эта точка зрения получила поддержку и в современной исторической литературе.

С ней, однако, трудно согласиться.

Заметим сперва, что по всему складу своей природы, моральным устоям и характеру умственных интересов Павел с его глубокой религиозностью, романтическим пристрастием к средневековому рыцарству, душевной экзальтированностью не мог не принимать близко к сердцу духовно-

нравственных исканий масонства и мистических настроений его идеологов. Павла могли склонять к тому и рассказы о масонских симпатиях Петра III, во всем подражавшего прусскому королю Фридриху II, двор которого был средоточием масонов. Нельзя сбрасывать со счетов и собственные прусские симпатии Павла, его тесные связи с берлинским двором, где после воцарения Фридриха-Вильгельма масоны-розенкрейцеры занимали исключительное положение, проникали на государственные посты, воздействовали на внешнеполитический курс. Эти связи поддерживались и императрицей Марией Федоровной, имевшей в германских землях влиятельных покровителей, кроме того, ее дядя, герцог Фердинанд Брауншвейгский, стоял во главе прусского масонства, а ее родные братья, генералы на русской службе Фридрих и Людвиг Вюртембергские, тоже были деятельными масонами. Впервые лично познакомиться с прусскими масонами Павел получил возможность еще летом 1776 г., когда, как мы помним, совершил поездку в Берлин в связи с предстоящей женитьбой.

Но особое значение имело в этом смысле непосредственное окружение Павла — почти все его наставники, друзья, политические единомышленники, составлявшие "партию" наследника в ее противоборстве с Екатериной II, были одновременно и виднейшими деятелями масонского движения. В первую очередь здесь должно назвать самого Н. И. Панина — главу этой "партии". В русском масонстве "доновиковского" периода он занимал одно из наиболее заметных мест. Когда в 1776 г. петербургские ложи объединились в одну Великую провинциальную ложу, он получил должность Наместного мастера и вместе с одним из ведущих деятелей раннего русского масонства И. П. Елагиным стал ее руководителем. Близок к масонам был и его брат П. И. Панин. Преданность масонским верованиям отличала Н. В. Репнина, члена нескольких лож, имевшего контакты и с южнофранцузскими масонами. В 1772 г. всего 21 года от роду был принят при участии Н. И. Панина в масонский орден тамплиеров А. Б. Куракин. Осенью 1776 г. тот же Панин, видимо не без умысла, посоветовал Екатерине II именно А. Б.

Куракина отправить в Стокгольм для официального извещения шведского короля о только что состоявшейся женитьбе великого князя. Воспользовавшись этим, руководители петербургских лож поручили ему войти в тайные сношения с главной Стокгольмской ложей и заручиться ее поддержкой для реорганизации по ее образцу, но на самостоятельных началах, русского масонства. Результатом поездки А. Б. Куракина явилось, таким образом, учреждение в России масонских лож шведской системы. Высшие степени в русском масонстве разных систем занимало еще одно, близкое ко двору наследника и пользовавшееся его доверием лицо — обер-прокурор VI Департамента Сената князь Г. П. Гагарин. Сильное духовное влияние на Павла оказывал состоявший при нем с 1777 г. капитан флота масон С. И. Плещеев. В 1788 г. он был командирован в Южную Францию и установил там отношения с самим Сен-Мартеном, став как бы связующим звеном между ним и окружением наследника. В переписке с Сен-Мартеном состоял и Н. В. Репнин. Добавим, наконец, что Репнин и близкий друг Павла еще с юношеских лет А. К. Разумовский были членами Ордена розенкрейцеров.

Впечатляет уже сама плотность в окружении Павла столь крупных и идейно убежденных фигур масонства, несомненно приобщавших наследника к его ценностям. Нельзя не прислушаться к мнению на сей счет такого авторитета в области биографии Павла, как Е. С. Шумигорский: "Граф Никита Панин, бывший членом многих масонских лож, ввел и своего воспитанника, посредством кн. Куракина, в масонский круг, и мало-помалу чтение масонских, мистических книг сделалось любимым чтением Павла Петровича".

Все это делает более чем вероятным предположение ряда историков и о его формальной принадлежности к масонским ложам.

В свое время издатель русского архива, великий знаток потаенной истории России XVIII в. П. И. Бартенев задавался вопросом: "Любопытно было бы узнать, с какого именно времени Павел Петрович поступил в орден фран-масонов", — сам факт формальной его принадлежности к масонству представлялся историку несомненным. Такого же взгляда

придерживался и Е. С. Шумигорский, ставивший перед собой тот же вопрос: "Когда именно вступил Павел Петрович в общество масонов, с точностью сказать нельзя, но, во всяком случае, не позднее 1782 года". К 1781 — 1782 гг. относил принятие Павла в масоны и Я. Л. Барсков, отметивший, что об этом было известно "еще в XVIII веке, по слухам, но без доказательств". Ходячая молва того времени была действительно полна слухами по сему поводу, расхождения касались только времени и места посвящения великого князя в масоны.

Так, по одной из версий, Павел был принят в масоны во время своего первого заграничного путешествия — в Пруссии в 1776 году.

По другой, Павел был посвящен в масоны принцем Генрихом Прусским в том же 1776 г. в Петербурге.

По третьей версии, Павла принял в масоны шведский король Густав III во время своего торжественного пребывания в Петербурге летом 1777 г.

По четвертой версии, согласно документам Особенной канцелярии Министерства полиции, "цесаревич Павел Петрович был келейно принят в масоны сенатором И. П. Елагиным в собственном доме, в присутствии графа Панина" (речь шла здесь, скорее всего о Великой провинциальной ложе в Петербурге). "Граф Панин, — вспоминал в данной связи Н. А. Саблуков, — состоял членом нескольких масонских лож, и великий князь был также введен в них". Участие Н. И. Панина в посвящении Павла в масоны было отмечено в поэтическом творчестве масонов. В одном из их рукописных сборников было записано стихотворение со следующей строфой:

О, старец, братьям всем почтенный,
Коль славно, Панин, ты умел:
Своим премудрым ты советом
В Храм дружбы сердце Царско ввел.

Носилась молва о посредничестве в обращении Павла I в масоны вместе с Н. И. Паниным и князя А. Б. Куракина. Е. С. Шумигорский, полагавший

эту версию наиболее правдоподобной, относил посвящение Елагиным Павла в масоны к промежутку времени между серединой 1777-го и 1799 г.

Наконец, по пятой версии, вступление Павла в масоны состоялось в ходе путешествия великокняжеской четы за границу в 1781 -1782 гг. По преданию, в Вене он посещал заседание одной из лож и, видимо, уже в южногерманских землях произошло его посвящение. Незадолго до этого главный агент берлинских масонов в Петербурге барон Г. Я. Шредер записал в своем дневнике мнение своего руководства "о великом князе": "мы можем принять его (в розенкрейцеры) без опасений за будущее". О причастности Павла к Ордену тогда же, в 1782 г., велась переписка между И. Г. Шварцем и берлинскими розенкрейцерами. Любопытно, что и по этой версии свою роль во вступлении Павла в масоны сыграл все тот же А. Б. Куракин. В документах следствия по делу Новикова сохранилась записка, где со ссылкой на переписку московских и берлинских масонов указано, что "он, Куракин, употреблен был инструментом по приведению вел. кн. в братство".

Напомним, что путешествие Павла за границу обострило и без того натянутые его отношения с матерью, когда негодование императрицы вызвала критика Павлом при европейских дворах ее правления и всплывшее на поверхность дело П. А. Бибикова, вследствие которого сопровождавший Павла А. Б. Куракин был отправлен в бессрочную ссылку в свои саратовские имения (его вернуло оттуда только воцарение Павла). В свете масонской окраски заграничного путешествия становится гораздо яснее, почему Екатерина II обрекла его на столь суровую опалу, равно как и то, почему она так упорно отказывалась, вопреки настояниям Н. И. Панина, включить в маршрут путешествия посещение великокняжеской четой Берлина — и не только по внешнеполитическим соображениям, но и потому, как теперь проясняется, что этот рассадник розенкрейцерства представлялся ей очагом тайных масонских влияний на Павла.

Через призму скрытой, но Екатерине II, безусловно, известной

масонской подоплеки заграничного путешествия мы можем лучше понять, почему после возвращения Павла из-за границы она все более отстраняла его от себя и постаралась в 1782-1783 гг. ослабить позиции панинской партии. Уволенного незадолго до того в отставку Н. И. Панина разбил удар, после которого он уже не оправился и через полгода умер. Помимо А. Б. Куракина был отдален от Павла и Н. В. Репнин, отосланный губернатором во Псков. Удален из столицы был и С. И. Плещеев, вместе с А. Б. Куракиным сопровождавший наследника в заграничном путешествии.

Примечательна сама множественность рассмотренных нами версий. Взятые в целом, они, однако, не имеют взаимоисключающего характера, а могут отражать некоторые реальные черты масонской биографии Павла. Дело в том, что по масонскому канону того времени допускалось членство одного лица в разные периоды его жизни в различных ложах, то есть последовательный переход из одной ложи в другую, и таких случаев в практике русского масонства второй половины XVIII — начала XIX в. было достаточно много. Не поощрялось только пребывание какого-то одного лица одновременно в ложах разных систем, но к Павлу, судя по вышеприведенным версиям, такого упрека предъявить было нельзя.

Подтверждением того, что Павел действительно был масоном, может служить и тот уже отмеченный выше факт, что при формировании в 1782— 1783 гг. высших органов Провинциальной российской ложи И. Г. Шварц намеревался должность Великого Мастера оставить вакантной для великого князя Павла Петровича. Но не будь он к тому времени уже посвящен в масонство, такое намерение вообще не могло бы иметь места, ибо по всем установлениям "вольных каменщиков" любая должность в масонской иерархии занималась, естественно, лишь членами масонского ордена, без каких бы то ни было исключений, в том числе и для царствующих особ. Любопытно, что присутствующие при этом видные масонские мартинисты считали формальную принадлежность Павла к масонству само собою разумеющейся. Отвечая на вопрос следствия по делу мартинистов в 1792 г., каким образом они "заботились изловить" в

свои "сети" "известную особу" (так на следствии камуфлировалось нежелательное для разглашения в таком контексте имя цесаревича), Н. Н. Трубецкой заметил, что согласился на предложение Шварца только потому, что предполагал, что "сия особа принята в чужих краях в масоны".)

Недаром на некоторых из сохранившихся портретов Павла он представлен в орденском одеянии и с масонской атрибутикой. На одном из них, в частности, Павел держит в правой руке золотой треугольник с изображением богини правосудия и справедливости Астреи, особо почитаемой масонами, — в ее честь в Петербурге в 1775 г. была основана одноименная ложа, слившаяся затем с Великой провинциальной ложей, в которую, по преданию, был принят и Павел.

Столь далеко зашедшие масонские отношения Павла, в основе которых лежали, как мы видим, надежды новиковского кружка розенкрейцеров на занятие им российского престола, тесно переплелись, таким образом, с попытками придворной оппозиции, панинской "партии" оспорить права Екатерины II на трон, притом что сама эта оппозиция оказывалась насквозь масонской по своему духовному облику и своим потаенным общественным связям. Иными словами, оба течения слились в один тугой антиекатерининский узел. К тому же надежды на скорое воцарение Павла исходили и из масонско-розенкрейцерских кругов при прусском дворе, имевших свою агентуру в России. С этими кругами сам Павел втайне от Екатерины II вел переписку. В дипломатических сферах было, в частности, известно, что еще в 1788 г. в Берлине рассчитывали на смерть Екатерины II и воцарение Павла. На основе конфиденциальных сообщений одного из крупных агентов в Петербурге в 1792 г. в окружении Фридриха-Вильгельма снова распускались слухи о перемене царствующей особы на российском престоле.

Не забудем, что все эти ущемлявшие царственные прерогативы Екатерины и шедшие с разных сторон, но бившие в одну точку устремления развивались в течение почти всего ее правления на фоне стихийного бунтарского брожения "низов" в поддержку династических

прав Павла, а с конца 1780-х гг. — и на фоне кровавых катаклизмов Французской революции.

Нетрудно поэтому понять, что именно связи московских мартинистов с Павлом более, чем что-либо другое, должны были навлечь на них гнев императрицы. "Преследование, которому в начале 1792 г. подвергались Новиков и московские розенкрейцеры, — писал по этому поводу Е. С. Шумигорский, — в значительной степени объясняется мнением императрицы, что они желали воспользоваться для своих „...“ целей именем великого князя".

Уже сам факт спорадических сношений московских мартинистов через посредство Баженова с Павлом и его благосклонное отношение к ним представлялись Екатерине II крайне тревожными и требовавшими от нее решительных действий. Мы располагаем на этот счет драгоценными мемуарными свидетельствами лиц, причастных в свое время к новиковскому кружку и посвященных в закулисную подоплеку событий.

Н. М. Карамзин писал в 1818 г.: "Один из мартинистов или теософитских масонов, славный архитектор Баженов писал из С.-Петербурга к своим московским друзьям, что он, говоря о масонах с тогдашним великим князем Павлом Петровичем, удостоверился в его добром о них мнении. Государыне вручили это письмецо. Она могла думать, что масоны, или мартинисты желают преклонить к себе великого князя".

Д. П. Рунич, вспомнив о тех же контактах Баженова с Павлом и о его сообщениях "братьям" масонам о своих разговорах с ним, заметил, что для Екатерины "и сего достаточно было, чтоб заключить, что Новиков и общество злоумышляют заговор".

В самом деле, по вполне убедительному предположению историка русской литературы XVIII в. В. А. Западова, наиболее сильные удары, нанесенные Екатериной II московскому кружку мартинистов — в 1785, 1787 и 1792 гг. — всякий раз провоцировались поездками Баженова по их поручению к великому князю: "Каждый из них наносится в ответ на очередную попытку Новикова связаться с наследником престола Павлом Петровичем".

О "павловской" доминанте в деле московских мартинистов можно судить и по направленности учрежденного над ним в 1792 г. следствия, несомненно руководимого самой императрицей.

Вынося уже свой обвинительный вердикт по итогам процесса над ними, Екатерина II в указе московскому генерал-губернатору А. А. Прозоровскому от 1 августа 1792 г. особо выделила сношения мартинистов с Павлом: "Они употребляли разные способы, хотя вообще к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы; в сем уловлении „...“ Новиков сам признал себя преступником". И действительно, развернутый, с подробными фактическими пояснениями ответ на вопрос о связях с Павлом Новиков вынужден был предварить покаянным признанием предъявленных ему на этот счет обвинений, — в ответах на другие вопросы следствия подобных признаний мы не находим.

Хотя видимым поводом для гонений на мартинистов, и в частности, ареста в апреле 1792 г. Новикова, послужило, как уже отмечалось, издание ими запретной религиозно-мистической литературы, на следствии эта тема вообще не возникала, на первый же план была выдвинута политическая сторона дела — тайные сношения московских мартинистов с берлинскими розенкрейцерами, среди которых были лица и из королевской семьи, но главное, попытки мартинистов "уловить известную особу". Да собственно, и зарубежные связи мартинистов, их постоянная переписка с лидерами прусского масонства интересовали Екатерину преимущественно через призму отношений тех и других с Павлом. С не допускающей никаких сомнений ясностью об этом рассказал в своих записках И. В. Лопухин, отвечавший на следствии на предъявленные ему А. А. Прозоровским вопросы: "Вопросы сочинены были очень тщательно. Сама государыня изволила поправлять их и свои вмещать слова. Все метилось на подозрение связей с тою ближайшею к престолу особою „...“, прочие же были, так сказать, подобраны для расширения завесы". "Во всех вопросах, — уточнял далее свой рассказ И. В. Лопухин, — важнейшим было „...“ о связях с оною ближайшею к престолу особою, и еще поважнее два пункта. 1) Для чего общество наше

было в связи с герцогом Брауншвейгским? 2) Для чего имели мы сношения с берлинскими членами подобного общества в то время, когда мы знали, что между российским и прусским дворами была холодность". "Прочие вопросы, — добавлял чуть далее И. В. Лопухин, — были, как я уже сказал, для расширения той завесы, которая закрывала главный предмет подозрения".

Сам А. А. Прозоровский, обобщая свои впечатления от следствия над мартинистами, писал Екатерине II: "Все их положения имеют касательства до персоны государевой; они были против правительства „...“, а если бы успели они персону (т. е. великого князя Павла, по следственной терминологии. — А. Т.), как и старались на сей конец, чтоб провести конец своему злому намерению, то б хуже сделали фр. кра.". Смысл этой не очень грамотной инвективы в адрес московских мартинистов в том, что планы возведения на престол Павла они собирались будто бы произвести путем насильственного устранения Екатерины, наподобие участи французского короля Людовика XVI, — крайнее преувеличение, ибо такого рода "злые намерения" решительно исключались всем складом их мирозерцания и духовно-нравственных постулатов.

Современники были в недоумении от суровости кары, постигшей Новикова. Но оно рассеется, если мы примем во внимание, что степень наказания московских розенкрейцеров во многом зависела, по точному определению В. А. Западова, от меры их участия в "уловлении известной особы". Так, те из них, кто подозревался лишь в религиозно-мистических исканиях (например, М. М. Херасков), вообще не пострадали. И. В. Лопухин, отрицавший свою причастность к сношениям с Павлом, был оставлен в Москве под присмотром полиции. Считавшиеся более замешанными в связях с цесаревичем Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев были сосланы в свои имения. Теснее всего связанный из павловского придворного окружения с мартинистами Репнин был лишь оставлен под подозрением, но, конечно, навсегда потерял расположение императрицы. Баженов вовсе не был наказан — видимо, казалось выгодным

представить "главного архитектора" только исполнителем поручений мартинистов. Но сам Новиков, в котором Екатерина II видела ведущую среди них по своему общественному весу и политическим устремлениям фигуру, наиболее ответственную за сношения с Павлом, по одному лишь указу императрицы, вне судебного разбирательства, был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость — жестокость, в целом не характерная для прежних лет ее царствования. Арест и заключение Новикова в крепость были окружены атмосферой чрезвычайной секретности. В частности, коменданту Шлиссельбургской крепости лично Екатериной II было повелено принять некоего арестанта от А. А. Прозоровского, но имя Новикова при этом не называли, и в дальнейшем содержании его в крепости власти стремились этого имени не упоминать.

"Тогда говорили, — вспоминал Д. П. Рунич, — что не столько французская революция была причиной засады Новикова в крепость, сколько внушение Екатерине мысли, что он и общество масонов желают возвести на престол России наследника, ее сына". Новый и, казалось бы, неожиданный поворот этому событию придает указание известного в прошлом веке историка русской литературы Н. С. Тихонравова, основанное, вероятно, на каких-то утраченных материалах: "Новиков в 1792 г. посажен был в Шлиссельбургскую крепость. Причиной тому был конституционный акт, представленный князю Павлу Петровичу Паниным, одним из друзей и покровителей московских масонов". Вполне согласуется с этим и замечание Е. С. Шумигорского, весьма осведомленного в архивах павловской эпохи и о многом знавшего по устным преданиям: "Масоны того времени были правы, считая главной причиной подозрительного отношения к себе императрицы связи свои с Павлом Петровичем и членами панинской партии" (курсив мой. — А. Т.)

Что могло за всем этим стоять?

Напомним, что Н. И. Панин умер в конце марта 1783 г., значит, дело касалось весьма отдаленного по времени представления им наследнику некоего "конституционного акта". Такой конституционный проект действительно существовал, и Екатерина II о нем что-то знала (речь об

этом у нас еще впереди). Стало быть, если приведенные выше свидетельства признать достоверными, подозрение Екатериной Н. И. Панина в давних конституционных замыслах, каким-то образом увязанных со стремлением возвести на престол Павла, также должно быть учтено как фактор, усугубивший меру наказания Новикова. Более того, это подозрение бросало тень на весь кружок московских мартинистов — раз Н. И. Панин имел стойкую репутацию их "покровителя". Хотя, точности ради, надо сказать, что он так и не дожил до расцвета его деятельности, а сами мартинисты были весьма далеки от выработки каких-либо конституционных планов. Тем не менее их отношения с Н. И. Паниным и его "партией" были в глазах Екатерины ничуть не меньшим криминалом, чем даже их тайные связи с Павлом.

Выведя дело московских мартинистов из-под судебного разбирательства, сделав все возможное, чтобы утаить сведения об участии Новикова, имя которого пользовалось широкой известностью в русском образованном обществе, Екатерина II старалась избегать публичных толков, столь нежелательных в условиях скрытого брожения внутри страны и сложной внешнеполитической ситуации, не говоря уже о том, что это могло бы подорвать ее престиж "просвещенной государыни". Но, конечно, первейшую роль играли здесь крайне щекотливые обстоятельства ее взаимоотношений с сыном — наследником престола, которые таило в себе дело московских мартинистов. Не случайно И. В. Лопухин дважды в своих записках упомянул установку екатерининского следствия 1792 г. на "расширение той завесы, которая закрывала главный предмет подозрения". Будь обстоятельства такого рода преданы огласке в результате судебного рассмотрения — и монархическим интересам Екатерины II, и правящей династии в целом был бы нанесен непоправимый ущерб.

Что же до самого Павла, то и он не остался в стороне от следствия. Екатерина потребовала от него разъяснений по поводу показаний мартинистов о его связях с новиковским кружком. Павел категорически отверг павшие на него подозрения, продиктованные, как он заявил,

"злым умыслом". Екатерина сделала вид, что поверила, хотя продолжала считать объяснения сына ложными, а его вину — доказанной. Так или иначе, но Павел в глубине души, видимо, понимал, что более всего Новиков и его сподвижники могут пострадать из-за сношений с ним. Возможно, этим была вызвана и его раздраженная реакция на последний визит Баженова. Не исключено, что сильно встревоженный Павел не просто дал при этом волю своему темпераменту, но и хотел дать понять московским мартинистам о надвигающейся на них опасности, а тогда, в начале 1792 г., он уже мог почувствовать ее приближение.

Несомненным признаком глубокой личной заинтересованности Павла в участии московских мартинистов может служить то обстоятельство, что после смерти Екатерины II он затребовал и держал в своем кабинете до конца жизни их секретнейшие следственные дела и особенно все, что касалось Новикова, его масонские бумаги, допросы и т. д. Еще более красноречиво свидетельствует об этом и то, как Павел распорядился сразу же по своем воцарении судьбой подвергшихся при Екатерине II гонениям участников новиковского кружка. Буквально на следующий же день был освобожден из крепости Новиков, которого считали то ли сошедшим с ума, то ли давно умершим. Н. Н. Трубецкому и И. П. Тургеневу разрешалось вернуться из ссылки и пользоваться полной свободой, причем Тургенев был назначен вскоре директором Московского университета. Всячески обласкан был И. В. Лопухин, определенный к Павлу статс-секретарем, в 1797 г. он был пожалован и сенатором. Возвратился из опалы Н. В. Репнин, произведенный в фельдмаршалы. Покровительство Павла масонам продолжалось в последующем. Вскоре после коронации он даже предложил им как бы заново открыть масонские ложи и, по преданию, собрав на этот предмет видных масонов, держался с ними весьма любезно, говоря: "Пишите ко мне просто, по-братски и без всяких комплиментов" (курсив мой. — А. Т.). И только с принятием Павлом гроссмейстерства в Мальтийском ордене в 1798 г. это покровительство было прервано. Мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что и став императором, Павел ощущал не только человеческую,

духовную близость с этими людьми, но и свою ответственность перед ними.

Павел или Александр?

Официально провозгласив при воцарении Павла своим наследником, Екатерина II, как мы уже не раз отмечали, меньше всего думала о том, что он когда-либо займет российский престол. Систематически не допуская Павла по достижении им совершеннолетия к управлению страной, она обнаруживала свои истинные намерения на его счет, ибо в условиях абсолютистской системы правления не готовить исподволь наследника к государственным делам означало не что иное, как не воспринимать его всерьез будущим самодержцем. Удаление Павла после 1783 г. от большого императорского двора в Гатчину лишь подтверждало нежелание Екатерины II видеть его в этой роли. Но даже наступившее затем многолетнее отчуждение еще не лишало Павла надежды на изменение со временем, при благоприятном стечении обстоятельств, его положения в государстве.

Однако надежда эта в один прекрасный день могла безвозвратно рухнуть, коль скоро возникла бы угроза самим его правам на престол. А лишить его этих прав Екатерина замышляла уже давно, едва ли не с первых же месяцев царствования.

Об этом, в частности, свидетельствует история с ее бракосочетанием, разыгравшаяся в 1763 г., вскоре после коронации. Тесно связанный с ней в прежние годы бывший канцлер А. П. Бестужев-Рюмин предложил (видимо, по ее подсказке или угадывая ее желание) возбудить вопрос о вступлении императрицы в брак, имея в виду ее молодые еще годы и интересы престолонаследия. Претендентом на руку императрицы подразумевался при этом ее возлюбленный Г. Г. Орлов, которому она в значительной мере и была обязана успешным исходом дворцового заговора 1762 г. Еще до свержения Петра III у нее родился от Орлова сын Алексей (получивший в 1765 г. фамилию Бобринский).

Предложение Бестужева-Рюмина получило поддержку части духовенства

и некоторых сенаторов. Екатерина II представила его на рассмотрение Совета при своей особе, мотивируя необходимость брака с Орловым ссылками на слабое здоровье Павла. Если бы этот брак состоялся, то Екатерина II, опираясь на петровский Устав 1722 г. могла бы — в ущерб династическим интересам Павла — объявить законным наследником престола А. Г. Бобринского. При рождении же от этого брака детей она получила бы еще одну возможность отстранить Павла, узаконив права на престол кого-либо из них.

Его сторонники сразу же оценили нависшую над ним опасность и решительно воспротивились матримониальным поползновениям Екатерины II. Н. И. Панин сумел доказать при дворе, что великий князь здоров и физически достаточно вынослив, на Совете же заявил: "Императрица может делать, что хочет, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей России". (Напомним, что сведения о предполагаемом замужестве императрицы просочились в гвардейскую массу, настроенную в пользу Павла и интерпретировавшую их в сугубо враждебном Екатерине и Орлову духе). На том дело тогда и окончилось, ко вопрос о Бобринском в этом династическом контексте снова возник летом 1771 г., когда Павел тяжело заболел, при дворе были сильно встревожены, и пошли разговоры, инспирированные, видимо, самим Орловым, который находился тогда в зените своего могущества, о том, что в случае неудачного исхода болезни наследником престола будет объявлен Бобринский. Однако на сей раз Екатерина II не поддержала своего фаворита, Павел благополучно выздоровел, и вопрос о Бобринском отпал навсегда.

Тем не менее Екатерина II продолжала вынашивать свой замысел. Считая, очевидно, для себя неудобным и невыгодным снова поднимать вопрос о престолонаследии, когда Павел был еще в юношеском и отроческом возрасте, Екатерина отодвигала реализацию своего замысла в некое будущее и, можно предполагать, связывала ее с появлением у цесаревича мужского потомства. Отчасти и поэтому вскоре по достижении им совершеннолетия она предпринимает усилия по поиску

для сына невесты, завершившиеся в сентябре 1773 г. его бракосочетанием с великой княгиней Натальей Алексеевной, а буквально на следующий день после ее неожиданной кончины в апреле 1776 г., пренебрегая всеми приличиями, начинает спешно готовить почву для нового брачного союза сына, на этот раз с принцессой Вюртембергской Софией-Доротеей, будущей великой княгиней Марией Федоровной.

Рождение в следующем году у великокняжеской четы первенца — Александра — коренным образом изменило ситуацию. У Екатерины II появилась наконец реальная перспектива претворить свой замысел в жизнь.

Как глава императорского дома, она считает теперь своим правом и долгом взять на себя заботу о новорожденном внуке — будущем наследнике престола, воспитав его по своему образу и подобию, и, как мы уже видели, бесцеремонно отлучает его от родителей. Вместе с тем до поры до времени она не могла еще позволить себе каким-либо образом афишировать свой замысел и тем более высказываться о нем официально — он держался втуне, доверялся лишь избранным. Так, в марте 1779 г. в письме к барону Ф. М. Гримму Екатерина II называет Александра "носителем короны в будущем".

Но Павел с его обостренной чувствительностью справедливо заподозрил в деспотическом отстранении его с женой от воспитания Александра (а два года спустя — и Константина) тревожный симптом для своих династических прав. Его беспокойство возрастало в связи с заграничным путешествием 1781 — 1782 гг., найдя почву в толках, которые как раз с этого времени начинают расходиться при дворе, о намерении Екатерины лишить его прав на престол в пользу Александра.

Это намерение Екатерины II, конечно, крепло по мере того, как Александр подрастал, а ее отношения с Павлом ухудшались. Однако его тем труднее было осуществить, чем большее время цесаревич значился официальным наследником престола. Совершаемая сверху абсолютистской властью перемена в порядке престолонаследия вообще, а при живом наследнике особенно была чрезвычайно ответственным

актом, болезненно затрагивавшим династические традиции, придворные взаимоотношения, общественное правосознание и равнозначным, по сути дела, государственному перевороту. Это требовало тщательной юридической, политической, психологической подготовки.

Екатерина II вполне это понимала и в поисках исторического обоснования своего права распоряжаться судьбами престола с 1787 г. обращается к прецедентам из истории предшествующих царствований. Она внимательно изучает "Правду воли монаршей" Ф. Прокоповича, петровское законодательство о престолонаследии, манифест о вступлении на престол Екатерины I и другие подобные акты эпохи "дворцовых переворотов". 25 августа 1787 г. статс-секретарь императрицы А. В. Храповицкий записал в своем дневнике: "Спрошены Указы о наследниках, к престолу назначенных, со времен Екатерины 1-й". Но в центре ее интересов — Петровская эпоха, судьба царевича Алексея. 20 августа 1787 г. Храповицкий отметил в дневнике: "Читали мне известный пассаж из „Правды воли Монаршей“. Тут, или в Манифесте Екатерины 1-й сказано, что причина несчастья царевича Алексея Петровича было ложное мнение, будто старшему сыну принадлежит престол". В одной из своих записок того времени, очевидно подводившей итог ее размышлениям на эту тему, Екатерина II пишет: "Итак, я почитаю, что прещедрый Государь Петр I, несомненно, величайшие имел причины отрешить своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына. Сей наполнен был против него ненавистью, злобой, ехидной завистью „...“ и т.д. Стало быть, оспаривая как „ложное“ укоренившееся в сознании русского общества представление о предпочтительности мужского первородства при занятии престола, Екатерина II вместе с тем пытается найти в примере Петра оправдание своим собственным намерениям в отношении Павла, а его самого, возможно, утешить участью царевича Алексея.

В своих набросках "Греческого проекта", по которому, как известно, во главе создававшегося на развалинах Османской империи Греческого царства она собиралась поставить великого князя Константина

Павловича, Екатерина II примерно тогда же заметила, что он возьмет на себя обязательства "не учинить ни в каком случае наследственное или иное притязание на всероссийское наследие, равномерно и брат его на греческое" (курсив мой. — А. Т.). Таким образом, Екатерина II тогда уже видела Александра на российском троне не только в национальных границах, но и в широкой геополитической перспективе.

В исторической литературе принято обычно этот отмеченный 1787 г. сдвиг на пути оформления Екатериной II своего замысла по устранению от престола Павла объяснять усилением его прусских симпатий и негласных сношений с берлинским двором, который занял тогда враждебную позицию к России, вынужденной вести войну на юге с Турцией и на севере (с 1788 г.) со Швецией. Нежелание Павла считаться с ее внешнеполитическим курсом Екатерина II готова была расценить (или хотя бы представить в таком виде окружающим) противоречащим национальным интересам государства. Думается, однако, что ее могли подтолкнуть к тому и обстоятельства внутреннего порядка, в частности, вновь выявившиеся, как мы помним, именно в 1787 г. в связи с очередной поездкой Баженова в Петербург сношения Павла с кружком московских мартинистов, что вызвало со стороны Екатерины II и новую вспышку гонений на них. В этом смысле представляется далеко не случайной определенная хронологическая последовательность событий. 27 июля 1787 г. был издан один из самых репрессивных в отношении Новикова указов Екатерины II, а уже в двадцатых числах августа в дневнике Храповицкого фиксируются ее первые попытки найти историческое оправдание замыслам по лишению Павла права на престол. Есть основания полагать, что и в последующем все более раскрывавшиеся связи Павла с московскими масонами вносили свою лепту в процессе созревания у Екатерины II этого замысла. 14 августа 1792 г. она писала доверительно барону Гримму: "Сперва мой Александр женится, а там со временем и будет коронован со всевозможными церемониями, торжественными и народными празднествами". Н. Шильдер верно заметил, что в этих словах императрицы "намерения ее

относительно будущего Александра" были выражены уже "как окончательно решенное дело". Но тут нелишне напомнить, что всего за две недели до того завершилось длившееся еще с апреля следствие по делу московских мартинистов, в ходе которого подтвердились тревожные подозрения Екатерины II о тайных сношениях Павла с новиковским кружком, лелеявшим надежды на его воцарение.

Это как бы развязывало императрице руки, разница в ее чувствах к сыну и внуку бросалась теперь в глаза каждому непредвзятому наблюдателю, и она уже могла не скрывать своих планов. Не случайно как раз в это время, с начала 1790-х гг., слухи о предстоящих переменах на престоле выходят из верхушечных придворных кругов и довольно широко расходятся в столичном обществе. За пределами Зимнего дворца "проникали тайну Екатерины II, желавшей отдалить от престола своего сына", — вспоминал служивший тогда в Петербурге кавалерийский офицер А. С. Пищевич. "Мысль ее была, — продолжал он, — описав все качества настоящего наследника, отрешить его, а внуку своему Александру вручить кормило царства". Эти слухи проникали и в иностранную дипломатическую среду, откуда становились известны и в европейских столицах. В 1793 г. саксонский посланник в Петербурге доносил своему двору: "Известно, что уже несколько лет тому назад было намерение исключить „цесаревича“ от престолонаследия". О желании Екатерины II "устранить" своего сына в пользу Александра сообщал в Лондон в следующем году и английский посланник Ч. Витворт, полагавший, что в русских условиях такой шаг был бы далеко не безболезненным.

Екатерина II, как мы уже видели из ее письма к Гримму, свое нетерпеливое желание видеть наследником престола вместо Павла Александра непосредственно увязывала с его скорейшей женитьбой — так же, как и за двадцать лет до того она стремилась в тех же целях ускорить бракосочетание самого Павла. Уже давно между Петербургом и двором наследного принца Баденского шли переговоры о возможности выдачи его старшей дочери Луизы-Августы за внука императрицы, в

ноябре 1792 г. принцесса Баденская совершила путешествие в Россию для знакомства с женихом, в мае 1793 г. они были обручены, а в конце сентября в торжественно-праздничной обстановке состоялось их бракосочетание. Заметим, что новоиспеченному мужу не исполнилось и 16 лет, а его молодой жене (получившей в православии имя Елизаветы Алексеевны) сравнялось только 14, — брак явно форсировался Екатериной II.

Павлу, однако, он не принес никакой радости. В тех условиях, когда слухи о ее желании произвести столь решительную перемену в порядке престолонаследия получили уже хождение в публике, Павел не мог не быть в курсе намерений на свой счет матери. Мысль об этом уже и до того разъедала его душу. Страх быть отрешенным от законных прав на престол с весьма неясными, мягко говоря, перспективами на будущее свое существование, гнетущее чувство несправедливости, ощущение безнадежности, тоскливое бессилие от невозможности что-либо изменить в свою пользу — все это не давало ему покоя. Вполне объяснимо поэтому, что в браке, придавшем сыну большую самостоятельность и значение при дворе, Павел увидел признак того, что разговоры о сокровенных династических намерениях Екатерины II перемещаются теперь в практическую плоскость, что момент объявления Александра наследником престола приближается. И хотя отношения Павла с сыном были достаточно сложными, неровными, а порой и напряженными (выйдя из-под монопольного влияния Екатерины II, бывая то при ее дворе, то в Гатчине и Павловске, Александр вынужден был постоянно лавировать между бабкой и родителями), наверное, тяжелее всего цесаревичу было видеть в сыне не просто политического соперника, а враждебную силу в собственной семье, орудие личного своего унижения.

Екатерина II между тем стремится придать своему династическому плану официальный характер и в 1794 г. выносит его на обсуждение Совета при своей особе (в Совет тогда входили такие знатные вельможи, как престарелый граф К. Г. Разумовский, графы П. А. Румянцев-Задунайский, Н. Г. Чернышев, Н. И. Салтыков, А. Р. Воронцов и другие). Она доводит

до его сведения, что собирается "устранить сына своего от престола", ссылаясь на его "нрав и неспособность" и объявить наследником внука Александра. Какие-либо документальные данные об этом секретном заседании до нас не дошли, да скорее всего их и не было — слишком уж предмет щепетилен. О том, что там происходило, мы знаем из позднейших мемуарных показаний осведомленных современников. Так, по рассказу Д. П. Рунича, опиравшегося на свидетельство правителя дел канцелярии Совета И. А. Вейдемейера, большинство его членов были готовы поддержать Екатерину, но тут раздался голос графа В. П. Мусина-Пушкина, сказавшего, что "нрав и инстинкты наследника, когда он делается императором, могут перемениться" — и этого оказалось достаточно, чтобы намерение Екатерины II было остановлено. Из воспоминаний А. С. Пищевича, имевшего знакомства среди гатчинских офицеров, следует, что с возражениями выступил долгие годы приближенный к Екатерине II граф А. А. Безбородко — человек, несомненно, государственного ума, но и искуснейший царедворец. Он выдвинул гораздо более существенный в плане традиций общественного правосознания в России довод, представив, вопреки ее намерениям, "все худшие следствия такого предприятия для отечества, привыкшего почитать наследником с столь давних лет ее сына".

Несмотря на неудачу попыток Екатерины II официализировать свой династический план, она вовсе не отказалась от него и стала искать обходных путей уже в недрах царской семьи — с тем, чтобы добиться от самого Павла как бы добровольного отречения от престола. (О том, что Екатерина II старалась заставить Павла "добровольно" отказаться от трона, писал в своих мемуарах и М. А. Фонвизин со ссылкой на рассказы генерала Н. А. Татищева, близкого к императрице командира Преображенского полка.) Но Мария Федоровна наотрез от этого отказалась и тут же покинула Царское Село. Преданная мужу, не допускавшая и мысли о его соперничестве с сыном на династической почве, сама не лишённая надежды на свою прикосновенность в будущем к престолу, она сделала все возможное для их примирения и, видимо,

договорилась с Александром о дальнейших действиях по отражению настойчивых домогательств императрицы.

Для Екатерины II заручиться согласием Александра на свой династический план было делом первостепенной важности — иначе вообще все ее хлопоты на этот счет теряли бы всякий смысл. Вскоре после женитьбы внука, в октябре 1793 г., императрица пыталась добиться содействия в столь щекотливом деле Ф. Лагарпа, памятуя о духовном влиянии, которое он имел на Александра, к тому же и отношение Павла к наставнику сына было достаточно напряженным. Лагарп, однако, вовсе не собирался разыгрывать отведенную ему роль и впутываться в скандальные отношения членов царской семьи. Во время беседы с Екатериной он держался крайне осмотрительно и не только не выполнил ее просьбы, но напротив, постарался, со своей стороны, помирить отца с сыном. Раздраженная Екатерина II в отместку отстранила Лагарпа от занятий с внуками, а затем летом 1795 г. способствовала отъезду его из России.

Теперь, в 1796 г., незадолго до смерти, она сама заводит с внуком разговор о своих намерениях на его счет. Разговор этот, в котором Екатерина II, понятно, всячески убеждает Александра дать согласие на объявление его престолонаследником, состоялся 16 сентября 1796 г. 24 сентября Александр пересылает бабке письмо — живой и непосредственный отклик на их беседу. В самых почтительных тонах благодарит он ее за "то доверие", каким она его удостоила, заверяет бабу, что чувствует "все значение оказанной милости", что ее "соображения", высказанные по главному предмету разговора, "как нельзя более справедливы" и т. д. Казалось бы, Александр выказал здесь полное согласие с предложением Екатерины. Было бы, однако, опрометчивым видеть в этом письме выражение его истинных мнений.

Всем своим воспитанием и уже сложившимся мировоззрением и политическими взглядами 19-летний великий князь был весьма далек от предназначенной ему Екатериной II участи и готовил себя к совсем другому поприщу. Пройдя "школу" Лагарпа, усвоив просветительские

идеалы и освободительный пафос Французской революции, настроенный почти по-республикански, Александр в эти молодые годы критически оценивал русские общественные порядки, испытывая острую неудовлетворенность своим положением при дворе и нежелание когда-либо царствовать. Сокровенными своими размышлениями он делился в 1796-1797 гг. с немногими самыми доверенными людьми. Так, в письмах к Лагарпу (февраль) и В. П. Кочубею (май 1796 г.) он подвергает уничтожающей критике управление Екатериной II государством, злоупотребления и пороки администрации, придворные нравы, фаворитизм и признается в намерении отречься в будущем от престола и "жить спокойно частным человеком".

При таком складе мыслей и чувств Александра ни о каком согласии его с династическими планами Екатерины II не могло быть, конечно, и речи. Привыкнув с детских лет балансировать между интересами Екатерины II и Павла, избегать ссор и раздоров, скрывать свои подлинные намерения, Александр и в данном случае проявил столь свойственные ему уклончивость и лицемерие. Дело не только в том, что сам он мечтал лишь об уединенной жизни "частного человека", но и в том, что, независимо от того, он ни в коей мере не собирался выступать в роли узурпатора отцовских прав на престол. В доверительном разговоре с фрейлиной своей жены Р. С. Эделинг, Александр произнес тогда примечательные слова: "Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат".

Поначалу от Екатерины II укрылось, видимо, что примерно в одно время со словесными заверениями Александра о согласии с ее династическими планами началось его сближение с отцом. Посредником в их примирении был, в частности, бывший воспитатель Александра А. Я. Протасов, который столь много в этом преуспел, что Павел и Мария Федоровна благодарили его за то, что "возвратил им сына". Знаменательно, что именно в то время, дабы отклонить Павла от подозрений в свой адрес, Александр несколько раз именуется в официальных обращениях

"императорским величеством". Такой же титул он применяет к Павлу и в письмах А. А. Аракчееву, в том числе и в письме от 23 сентября 1796 г., то есть накануне того дня, которым датировано "согласительное" письмо Александра к Екатерине II. Тем самым он давал понять, что признает отца императором еще при жизни бабки.

Без сомнения, Александр знал об ее династических планах еще задолго до того, как она вступила с ним в переговоры, знал он, разумеется, и о давлении императрицы на мать с целью добиться отречения Павла и, скорее всего, обговорил с ней и то, как будет себя вести в контактах с бабкой. Очевидно, и его письмо к ней от 24 сентября 1796 г. было написано с ведома матери. Не лишено оснований и предположение о том, что о своих разговорах с Екатериной II Александр оповестил и самого Павла, который мог втайне привести сына к присяге себе как императору.

Мы проследили, таким образом, ход продвижения Екатериной II своего замысла вплоть до конца сентября 1796 г. — на этом сколь-нибудь достоверные данные на сей счет обрываются.

Правда, как можно судить по некоторым мемуарным показаниям современников, в последние месяцы и даже недели жизни императрицы по Петербургу стали вдруг расходиться слухи о ее манифесте — своего рода завещании, которым и предусматривалось лишение прав на престол цесаревича Павла и объявление наследником внука Александра, причем, по этим слухам, манифест, чуть ли уже не подписанный, будет обнародован 24 ноября — в день тезоименитства Екатерины II или — самое позднее — 1 января 1797 г.

Вопрос об этом манифесте не раз привлекал к себе внимание в исторической литературе, о нем велись горячие споры, высказывались различные точки зрения. Совсем недавно историк А. Б. Каменский, автор ряда трудов о екатерининской эпохе, заметил: "Никаких доказательств того, что это завещание Екатерины действительно существовало, до сих пор не найдено. Скорее всего его никогда и не было". Но если бы вообще изначально отсутствовали какие-либо документы, воплощавшие волю

Екатерины II к перемене наследника на престоле, то надо было бы поставить под сомнение и многочисленные данные об ее усилиях такого рода, красной нитью проходящих через последнее двадцатилетие ее царствования, или же сами эти усилия объявить чистым блефом.

Между тем документально зафиксированные следы этого манифеста мы находим в том самом письме Александра к Екатерине II от 24 сентября 1796 г., которое явилось откликом на их беседу о престолонаследии 16 сентября. Александр благодарит здесь бабуку не просто за оказанное доверие, а также и за врученные ему ее "собственноручные пояснения и остальные бумаги". А "эти бумаги", продолжает Александр, "подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было недавно сообщить мне" и которые он признает как нельзя более справедливыми. Не боясь впасть в преувеличение, мы можем с достаточной долей вероятия утверждать, что "остальные бумаги" — это и есть, судя по контексту, некий черновой, первоначальный текст манифеста (и, возможно, сопровождающих его актов), который императрица сочла нужным дополнить своими письменными комментариями ("собственноручные пояснения"), вручив их внуку в ходе беседы.

Указания на то, что "было завещание" Екатерины II, "чтобы после нее царствовать внуку ее, Александру", содержатся в мемуарных свидетельствах Г. Р. Державина, занимавшего тогда крупные государственные посты и вхожего к императрице, причем он полагал, что это завещание существовало еще в 1793 г.

Как бы то ни было, завещание Екатерины II, хранившееся в свое время в глубокой тайне, несмотря на неоднократные поиски историков разных поколений, до сих пор не найдено.

Но до нас дошли рассказы очевидцев придворной жизни 1790-х гг., записанные в разных вариантах, о том, как это завещание всплыло вдруг на поверхность в момент смерти Екатерины II и воцарения Павла I — и тут же снова исчезло.

Если отвлечься от лишних и малодостоверных частных, которыми

обросло это мемуарное предание, оно может быть сведено к двум основным версиям.

По одной версии, известной главным образом из припоминаний князя С. М. Голицына, завещание было найдено великим князем Александром, Ростопчиным и А. Куракиным в кабинете Екатерины II при разборе, по поручению нового императора, ее бумаг сразу по ее смерти, среди других совершенно конфиденциальных рукописей, предназначавшихся покойной императрицей для Павла. По ознакомлении с ним Александр взял с Ростопчина и Куракина клятвенное обещание в неразглашении каких-либо сведений о завещании и тут же предал его огню, не сказав обо всем этом ни слова самому Павлу.

По другой версии, завещание, составленное А. А. Безбородко для обнародования, было отдано ему же Екатериной II на хранение. По смерти императрицы Безбородко вручил пакет с завещанием Павлу, который немедля бросил его в камин, даже не читая ("Многие, бывшие тогда при дворе, меня в том уверяли", — свидетельствовал описавший этот эпизод в своих воспоминаниях Л. Н. Энгельгардт. На "живые, устные предания" ссылался в подтверждение данной версии и А. М. Тургенев). Добавляли при том, что именно за эту услугу Безбородко и удостоился от Павла чрезвычайных даров и наград, когда в день коронации был осыпан поразившими всех своей щедростью милостями (титолом светлейшего князя, званием канцлера, обер-гофмейстерским чином, орденом Св. Иоанна Иерусалимского и в придачу тридцатью тысячами десятин земли и несколькими тысячами крепостных).

Тут мы не должны упускать из виду, что более мелкие обстоятельства этого эпизода освещены мемуаристами по-разному, со своими подробностями, иногда малодостоверными, а порой и просто апокрифическими. Таковым является, например, сообщение М. А. Фонвизина о том, что манифест был составлен с согласия приближенных к императрице вельмож, в преданности которых она была уверена. Столь же маловразумителен пущенный самим Безбородко, видимо, не без корысти, слух (в записи П. И. Бартенева) о подписании "бумаг" об

изменении порядка престолонаследия рядом видных государственных лиц екатерининской эпохи, в том числе А. В. Суворовым, П. А. Румянцевым, П. А. Зубовым, митрополитом Гавриилом. Непонятно прежде всего, что это были за "бумаги"? Если манифест и сопровождающие его акты, то они могли быть подписаны только императрицей. Если же это был документ частного, непубличного характера, то инициировать от своего имени перед ней вопрос о замене одного наследника престола другим указанные выше лица (или вообще кто бы то ни был из их среды), по всем нормам социального этикета той эпохи, никогда бы не осмелились. Опытнейший придворный, граф Ф. Г. Головкин недоумевал по этому поводу: "Где государыня отыскала четырех таких дураков для скрепы династического документа, который навел бы их прямо на лобное место?"

Но при всем том на факт передачи завещания Павлу не кем иным, как Безбородко, все мемуаристы указывают единодушно.

О чем же, о каком именно тексте шла речь во всех этих рассказах? Вероятнее всего, дело касалось неких первоначальных вариантов, черновых набросков текста манифеста, примерно на том уровне его подготовки, на каком Екатерина II за полтора месяца до смерти показывала его Александру. Но это не был полностью завершённый текст манифеста — как нам представляется, довести работу над ним до конца Екатерина II так и не успела или, скорее всего, не смогла.

Она вовсе не ожидала столь скорой смерти: болезнь, поразившая императрицу в одночасье, настигла ее внезапно, а ее кончина застала окружающих врасплох. Ясно, что она могла не спешить, откладывая день ото дня оформление столь ответственных бумаг. Следует поэтому отвести мнение некоторых мемуаристов, подхваченное затем историками, что лишению Павла прав на престол помешала только скоротечная смерть Екатерины, — не случись 5 ноября апоплексического удара, прожила она еще несколько дней, и судьба Павла — а значит, и России — смогла бы сложиться совсем по-другому. Но дело не только в этом. Перед императрицей возникали затруднения гораздо более существенные и

куда менее случайного порядка.

Мы видим, с какими неожиданными и ею, очевидно, ранее непредвиденными препятствиями столкнулась Екатерина II, как только приступила к практической реализации своего династического замысла.

Она испытала прежде всего глухое сопротивление подвластного ей, казалось бы, Совета при своей особе, когда достаточно было возражения одного из его участников (то ли Мусина-Пушкина, то ли Безбородко, — в данном случае не так уж важно), чтобы повернуть вспять весь ход дела. Она натолкнулась на тихое, но очень твердое нежелание сотрудничать с ней Лагарпа. Она встретила решительное сопротивление в собственной семье, когда великая княгиня Мария Федоровна, несмотря на все уговоры, наотрез отказалась содействовать ей в устранении Павла от престола. Наконец, она оказалась обманутой самим Александром, который лицемерно вводил ее в заблуждение, обволакивал флером своего согласия, а за спиной вступил, в сущности, в сговор против ее династических намерений с матерью и, очевидно, с отцом. Трудно допустить, чтобы в те оставшиеся после разговора с внуком и до смертельной болезни полтора с лишним месяца Екатерина с ее пронизательностью не распознала (или хотя бы не заподозрила) истинный характер его двуличной позиции. А одно это пресекло бы замыслы Екатерины II об объявлении Александра наследником престола. Были наверняка и другие, не выступавшие на поверхность проявления нежелания потворствовать этим замыслам Екатерины. Мы оставляем сейчас в стороне и почти не проясненный в литературе вопрос о сопротивлении ей со стороны "пропавловской" оппозиции, сторонников и друзей покойного Н. И. Панина. Но и сказанного достаточно.

Надо при этом помнить, что реализация такого замысла, с точки зрения юридических установлений и общественного правосознания того времени, могла считаться доведенной до конца в том случае, если бы соответствующий акт был бы обнародован при жизни Екатерины II ею самой, — лишь тогда он имел бы силу закона. Ведь в сходной ситуации междуцарствия 1825 г. давно уже оформленный акт об изменении

порядка престолонаследия только потому не мог быть приведен в действие, что не был в свое время обнародован Александром I. Довести же до обнародования столь высокой государственной значимости акт, как манифест об устранении одного наследника престола и замене его другим, даже Екатерине II, при всей неограниченности ее власти и ее влияния в обществе, вряд ли было уже по силам. И чем дальше шло время, тем такая затея оказывалась все более безнадежной.

Едва ли не важнейшая причина этого коренилась, как мы уже отмечали, в беспрецедентно долгом пребывании Павла в положении официального наследника престола, причем в стране с преобладающим крестьянским населением и со свойственным ему патриархально-консервативным менталитетом. Суть такого понимания вещей отчетливо выразил Безбородко, который, если верить мемуарам А. С. Пишчевича, при обсуждении на Совете 1794 г. намерения Екатерины II лишить Павла права на престол обратил внимание на "худые следствия такового предприятия для отечества, привыкшего почитать наследником с столь давних лет ее сына". В одном из рукописных литературно-исторических произведений начала XIX в., трактовавшем тему завещания Екатерины II, в уста того же Безбородко вложен аналогичный довод. Дело происходит в загробном мире, где на расспросы императрицы, почему он не обнародовал после ее смерти манифест-завещание, Безбородко отвечает, что "народ „...“, узнав о кончине твоей, кричал по улицам провозглашения Павла императором; войска твердили то же „...“. Народ в жизнь вашу о сем завещании известен не был. В один час переменить миллионы умов ведь дело, свойственное только одним богам". Ощущение опасности внутренних волнений в стране, если бы план Екатерины II по устранению Павла от престола был бы все-таки приведен в жизнь, пронизывает и поденные записи конца 1796 г. такого вдумчивого наблюдателя политических происшествий, как А. Т. Болотов: это "произвело бы в государстве печальные и бедственные какие-нибудь последствия, или какие несогласия и беспокойства неприятные всем Россиянам „...“. И все содрогались от одного помысления о том".

Если мы соотнесем эти тревожные строки со стойкой приверженностью простонародья к имени Павла, с непрекращавшимися все царствование Екатерины II стихийными порывами "низов" к возведению его на престол, то возможность возникновения, при попытке публично ущемить его династические права, социального брожения, некоей "смуты" представится нам не столь уж невероятной.

Понимание этого было не чуждо и некоторым близким ко двору русским и иностранцам — они вообще отказывались верить разговорам о такого рода замыслах Екатерины II. "Никогда я не была уверена, чтобы императрица действительно имела эту мысль", — вспоминала ее фрейлина В. Н. Головкина. Ф. Г. Головкин — видная фигура при дворе Екатерины II и Павла I — считал "баснями" рассказы о существовании ее завещания-манифеста: "...императрица слишком хорошо знала дела, чтобы поверить, что несколько слов, начертанных ее рукой, оказались бы достаточными изменить судьбу государства". Не принимал всерьез слухи о намерении Екатерины II отстранить Павла от престола и английский посланник в России Ч. Витворт, еще в 1784 г. сомневавшийся, что она "зайдет так далеко", ибо "хорошо знает Россию и поймет, что столь произвольные действия в такое время сопряжены с некоторой опасностью".

Во всей этой истории с попытками Екатерины II изменить порядок престолонаследия в России не может не броситься в глаза ее поразительное сходство с династической ситуацией конца 1750-х — самого начала 1760-х гг., когда, как мы помним, Елизавета, разуверившись в Петре Федоровиче, возжелала лишить его права на престол в пользу его сына и своего двоюродного внука Павла Петровича. Теперь точно так же поступает Екатерина II, собираясь лишить права на престол сына Павла в пользу внука Александра. Кардинально меняется только положение Павла в этих династических замыслах. На протяжении своей жизни он, таким образом, дважды оказывался втянутым, помимо своей воли, в дворцовую династическую игру. Но если при Елизавете Павел выступал одновременно ее орудием и целью, то при Екатерине II

— всего лишь жертвой.

Свое намерение отстранить Павла от престола в разные периоды его жизни Екатерина II мотивировала по-разному. В ранние его годы она все больше упирала на слабое здоровье сына и на вытекающее отсюда беспокойство за судьбу престола. В зрелом же его возрасте Екатерина II ссылалась обычно на "дурной нрав" и неспособность цесаревича к государственным делам.

Что касается "нрава", то здесь, казалось бы, у нее были весьма веские резоны: десятилетия опалы и унижения не прошли для Павла бесследно.

Непережитая драма отца, страшные детские впечатления от переворота 1762 г. и убийства Иоанна Антоновича, деспотические посягательства матери на его права, бесконечные уколы самолюбию ее фаворитов, гонения на ближайших друзей и сподвижников, полное, казалось бы, крушение упований на свое царственное призвание перед угрозой кары за связь с масонами и лишения законных прав на престол, преследовавший с детских лет страх быть умерщвленным в обстановке дворцовых интриг — весь этот эмоциональный пресс непосильным бременем давил на психику Павла и, усугубив врожденные недостатки и противоречивые черты его характера, деформировал его личность.

К середине 1790-х гг. это был уже не тот живой, щедрый, веселый, нервный, вспыльчивый, своенравный, но расположенный к людям, исполненный высоких нравственных и духовных помыслов, по-своему цельный и простодушный человек, каким он воспринимался в молодые годы и каким запечатлелся во многих мемуарах. Разумеется, все эти свойства не исчезли вовсе. Но теперь Павел все чаще представал перед окружающими натурой мрачной, разочарованной, сосредоточенной на себе, то и дело шокирующей их непредсказуемостью своих поступков и нетерпимостью, вспышками ничем не мотивированного гнева, а иногда и неукротимого бешенства, не знавшей меры раздражительностью, доходящей до мании мнительности. Н. В. Репнин еще в 1781 г. предостерегал Павла от чрезмерной подозрительности. Теперь Павел производил впечатление человека вечно мнящегося и страдающего от

собственных пороков. По тонкому наблюдению конца 1780-х гг. французского дипломата графа Л.-Ф. Сегюра, "он мучил всех тех, которые были к нему близки, потому что он беспрестанно мучил самого себя". В 1793 г. преданный Павлу Ф. В. Ростопчин в письмах к С. Р. Воронцову в отчаянии жалуется на Павла: "Каждый день мы слышим о насилиях, о проявлениях такой мелочности, каких должен был бы стыдиться честный человек", "здесь следят за образом действий великого князя не без чувства горечи и отвращения „...“". При малейшем противоречии он выходит из себя", "великий князь делает невероятные вещи; он сам готовит себе погибель и становится все более ненавистным".

И тем не менее апелляция к дурным свойствам природы Павла так и не помогла Екатерине II в ее поползновениях к лишению его прав на престол.

Замечательно, что еще современники отдавали себе ясный отчет в том, что в основе тяжелых перемен в характере цесаревича лежал нараставший с годами антагонизм с матерью и что уже само ее присутствие стимулировало их проявление. М. А. Фонвизин, помнивший о Павле и по личным впечатлениям, и по семейным преданиям, и по рассказам людей из его окружения, отмечал: "В. к. Павел Петрович рожден был с прекрасными душевными качествами, добрым сердцем, острым умом, живым воображением и при некрасивой наружности восхищал всех знавших его своею любезностью. Но превратное воспитание, многолетний стесненный образ жизни при ненавидевшей его матери исказили эти добрые свойства. Екатерина постоянно держала его далеко от себя, не допускала к участию в делах государственных „...“".
Временщики и царедворцы в угодность императрицы показывали явное пренебрежение к ее сыну, и он, беспрестанно оскорбляемый и унижаемый, сделался болезненно раздражительным до иступления и бешенства; таким и увидела его Россия на троне". "Думать надобно, — писал по этому поводу много знавший о придворной жизни конца XVIII в. Л. Н. Энгельгардт, — что ежели бы он не претерпел столько

неудовольствий в продолжительное царствование Екатерины II, характер его не был бы так раздражен, и царствование его было бы счастливо для России, ибо он помышлял о благе оной". Еще более определенно, резко и даже обличительно формулировал то же мнение, совершенно независимо от Энгельгардта, и другой авторитетный мемуарист эпохи — Д. П. Рунич: "Если бы 34-летние раздражения, самые чувствительные оскорбления и ожидания непрестанные, что ненавидящая его мать, завладевшая его скипетром, отлучит его от престола, чтобы посадить на него его сына, не сделали нрав Павла 1 -го подозрительным, недоверчивым и нерешительным, он был бы одним из величайших монархов света „...“".

Вполне вероятно, что в многолетнем ущемлении Екатериной II прав и личных интересов Павла видели источник роковых сдвигов в его характере и участники Совета при особе императрицы, когда в 1794 г. не приняли во внимание ее жалобы на "нрав" цесаревича. Быть может, именно этот, далеко не благоприятный для Екатерины, смысл заключала в себе не лишенная сарказма, многозначительная реплика В. П. Мусина-Пушкина насчет того, что "нрав и инстинкты наследника, когда он сделается императором, могут перемениться".

Что же до ссылок Екатерины II на неспособность Павла к государственной деятельности, то, во-первых, уже практика его четырехлетнего царствования не подтверждает, как увидим далее, этот тезис, и, во-вторых, дело касалось отнюдь не государственной недееспособности цесаревича, разговорами о которой его недоброжелатели стремились прикрыть свое нежелание видеть Павла на престоле, дело касалось совсем другого. Еще в начале 1780-х гг. после одной из бесед с ним на политические темы Екатерина II заметила: "Мне больно было бы, если бы моя смерть подобно смерти императрицы Елизаветы, послужила знаком изменения всей системы русской политики". Вот о чем, оказывается, шла речь — о различном понимании матерью и сыном коренных задач русской политики вовне и внутри страны, о ее страхе перед тем, что с воцарением Павла будет проводиться совсем другая политическая "система", иными словами, речь

шла о наличии у Павла своей собственной программы государственной деятельности.

В надежде царствовать

Убеждение в законности своих прав на российский трон, в своем историческом призвании стать императором великой страны было в высшей степени свойственно Павлу. Внушенное ему еще с детских лет Н. И. Паниным и его сторонниками, поддерживаемое в течение всего царствования матери и с годами все более усиливавшееся, это убеждение составляло как бы внутренний стержень того сопротивления, которое Екатерина II неизменно испытывала в своей политике ущемления интересов и прав сына. Даже в последний год-полтора ее жизни, когда затравленный со всех сторон Павел имел основания считать свое положение отчаянным, почти безнадежным, желание царствовать его не покидало. Незадолго до кончины Екатерины II Ростопчин сообщал С. Р. Воронцову, что наследник "изнемогает от досады и ждет не дождется, когда ему вступить на престол".

Мы уже отмечали выше, что Н. И. Панин, вынашивавший планы конституционных преобразований в России, именно в этом духе готовил Павла к занятию престола. Но прежде всего готовил себя к такой роли сам Павел. По этому поводу известный критик и историк литературы С. Б. Рассадин, автор книги о Д. И. Фонвизине, посвятивший в ней немало ярких страниц его взаимоотношениям с Н. И. Паниным и Павлом, верно заметил, что он "мечтал о государственной деятельности, рвался к ней, грубо останавливаемый матерью, жаждал перемен в правлении, и молодые мнения его не только разумны, но и благородны".

Нет ничего более ошибочного, чем высказывавшееся в старой исторической литературе мнение о "годах вынужденного безделья и томительного ожидания власти" Павлом в бытность его наследником. На самом деле "ожидание" им престола было на редкость деятельным, упорным, целеустремленным — обстоятельство, подмеченное некоторыми осведомленными современниками. Так, Д. П. Рунич вспоминал, что Павел

"подготавливал в продолжение двадцати лет в Гатчине и Павловском план своего царствования". Точную и проницательную оценку этой стороны биографии Павла-наследника дал Д. А. Милютин: "Удаляясь от роскоши двора „...“, окруженный немногими только преданными ему лицами, он „...“ глядел, однако же, гораздо дальше, чем тогда полагали, и в тишине своего уединения готовил себя к будущему высокому призванию: он следил внимательно за общим ходом дел, размышлял о важнейших вопросах государственных, обдумывал улучшения и перемены, которых требовало тогдашнее положение России", и "задолго до воцарения своего уже составил себе, так сказать, программу для будущей своей царственной деятельности".

Нам остается только кратко пояснить, что же это была за программа.

В 1769 г., когда Павлу — всего 15 лет, завязывается обмен мнениями между ним и Н. И. Паниным (иногда в письмах — тот часто бывал тогда в отъезде) о государственных преобразованиях в России. В том же году Н. И. Панин вводит в круг великого князя своего близкого сотрудника по Коллегии иностранных дел, подающего надежды литератора, в будущем знаменитого сатирика-драматурга Д. И. Фонвизина. Он читает наследнику только что написанную комедию "Бригадир", Павел оказывается благодарным слушателем и хвалит комедию. Фонвизин сблизается с Павлом, ведет с ним доверительные разговоры на самые острые политические темы, в частности о неустройстве в стране и важности крупных реформ. Так же, как и Н. И. Панин, Д. И. Фонвизин уповает на Павла как на идеального государя. Когда в 1771 г. Павел оправился после тяжелой болезни, Фонвизин — в пику Екатерине II — выпускает отдельной брошюрой торжественное "Слово" на его выздоровление — панегирик, прославляющий одновременно и Павла как будущего просвещенного монарха ("Отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойствия") и Н. И. Панина, вкоренившего "в душу Павла те добродетели, которые составляют счастье народа и должность Государя" (год спустя, по случаю совершеннолетия Павла, фонвизинское "Слово" перепечатает Н. И. Новиков в своем "Живописце", обозначив тем

самым, на чьей он стороне в противоборстве "пропавловской" оппозиции и Екатерины II). Знающие люди говорили о Д. И. Фонвизине и Н. И. Панине, что, невзирая на разницу в их возрасте, жизненном опыте, общественном положении "граф Панин был другом Фонвизина в прямом смысле слова. Последний усвоил себе политические взгляды и правила первого, а про них можно было сказать, что они были одно сердце и одна душа". Действительно, в основе этой близости лежало политическое единомыслие, приверженность одному общему, захватившему все их помыслы делу — подготовке задуманного Н. И. Паниным не позднее самого начала 1760-х гг. конституционного акта, призванного ограничить самодержавие в России. Первые попытки его реализации были связаны с переменами на престоле 1762 г. — с аристократическим ограничением абсолютизма по шведскому образцу посредством верхушечно-представительных институтов и с учреждением при Екатерине II Императорского совета со столь же олигархическим сдерживанием неограниченной власти монарха.

Однако последующая история конституционных замыслов Н. И. Панина не прояснена и документальные следы работы над ним не прослеживаются до конца 1760-х гг. включительно. Но в начале 1770-х гг., в изменившейся политической ситуации, когда после десятилетнего царствования Екатерины II ее режим и ее положение на троне упрочились и все надежды на то, что Павел станет ее соправителем, рухнули, разработка конституционного проекта непременно должна была возобновиться и обрести новую, более радикальную направленность. Чрезвычайно актуальный смысл придавало этому, конечно, совершеннолетие Павла и его последующая женитьба. Думается вместе с тем, что к тому времени Н. И. Панин отошел от прежних мыслей о введении в России олигархических установлений по шведскому образцу и строил свои преобразовательские планы на основе более полного освоения европейского государственного опыта, углубленного постижения просветительского наследия и учета специфики государственного устройства и общественных отношений в России. На

этом этапе, в начале 1770-х гг., Д. И. Фонвизин становится, видимо, уже полноправным участником разработки панинских конституционных замыслов. В той или иной форме привлекались к этой работе П. И. Панин и Н. В. Репнин. Свидетельством участия в ней Д. И. Фонвизина может служить его письмо к П. И. Панину 1778 г., с которым он переслал ему, как сказано здесь, "одну часть моих мнений, которые мною самим сделаны еще в 1774 г."

При некотором внешнем сходстве преобразовательных планов Н. И. Панина и идеологических постулатов Екатерины II, нельзя упускать из виду, что по своему существу и целям эти планы приходили в противоречие с проводимой императрицей политикой "просвещенного абсолютизма", — даже с самыми прогрессивными реформами, осуществляемыми в ее рамках. Ибо, какие бы меры в духе этой политики ни проводились, субъективно они были ориентированы в конечном счете на укрепление и обновление абсолютизма. Панинские же замыслы предполагали не частные улучшения, не устранение отдельных крайностей абсолютистского режима, а конституционное, то есть опирающееся на право и "фундаментальные законы" ограничение самодержавия и всех возможных его деспотических проявлений. Речь шла об установлении в России строя конституционной монархии. Осенью 1774 г., после только что пережитых страной потрясений, Павел пишет трактат с широковещательным названием "Рассуждения о государстве вообще относительно числа войск, потребных для защиты оною и касательно обороны". Вопреки, однако, своей кажущейся узковоенной тематики, он явился, по словам Н. К. Шильдера, "не чем иным, как жестокой критикой царствования, начавшегося в 1762 г.". Исходная мысль трактата — России следует отказаться от поглощающих все ее силы войн и сосредоточиться на запущенных внутренних делах. Павел выступает здесь как принципиальный противник внешнеполитической экспансии Екатерины II и ее фаворитов. "Государство наше в таком положении, — продолжает он, — что необходимо надобен ему покой. Война (с Турцией. — А. Т.),

продолжавшаяся пять лет, одиннадцатилетнее польское беспокойство да к тому же и оренбургские замешательства, кои начало имеют от беспокойствия Яицких казаков, уже несколько лет перед сим начавшегося, довольные суть причины к помышлению о мире, ибо все сие изнуряет государство людьми, а через то и уменьшает хлебопашество, опустошая земли". Обрисовав бедственное состояние страны, налоговый гнет, злоупотребления администрации, бесчеловечное обращение с нижними чинами, тяжесть рекрутчины, непомерно долгий срок солдатской службы, Павел предлагает приспособить военную систему исключительно к оборонительным целям и устроить армию наименее обременительным для страны образом. Для этого следовало выдвинуть 4 корпуса на границы для защиты государства, а остальные войска расположить по губерниям, поселив их на хозяйственно обрабатываемых землях, — с тем чтобы со временем они бы сами обеспечивали себя и войска комплектовались бы за счет солдатских детей, а рекрутчина была бы навсегда отменена. (Идея соединения армии с сельскохозяйственным трудом — Павлу, бесспорно, принадлежит приоритет в ее выдвижении — сама по себе, при исторически сложившихся тогда способах комплектования войск, ничего дурного не заключала и, будь осуществлена при определенных условиях, могла бы принести пользу и армии и государству в целом. Однако несколько десятилетий спустя, уже при Александре I и А. А. Аракчееве, она была начисто скомпрометирована, когда в извращенном виде легла в основу организации военных поселений).

Во всех этих размышлениях Павел отправлялся от простой и мудрой максимы: "Человек — первое сокровище государства и труд — его богатство; его нет, труд пропал и земля пуста, а когда земля не в деле, то и богатства нет. Сбережение государства — сбережение людей" и т. д. Свои "Рассуждения" Павел подытожил примечательными словами: "А сему я был сам очевидцем и узнал сам собою вещи и, как верный сын отечества, молчать не мог".

Осознание Павлом моральной ответственности за дела в государстве,

своего высокого призвания и личной независимости в противоборстве различных групповых интересов при дворе выразилось два года спустя в письме к одному из друзей — своего рода социально-нравственном кредо будущего обладателя российского престола: "Если бы мне надобно было образовать себе политическую партию, я мог бы молчать о беспорядках, чтобы пощадить известных лиц, но, будучи тем, что я есмь, — для меня не существует партий, кроме интересов государства, а при моем характере мне тяжело видеть, что дела идут вкривь и вкось и что причиною тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое".

В 1770— х гг. Павел ведет активную переписку с братьями Паниными, Н. В. Репниным, А. Б. Куракиным, обсуждая планы реформ в армии в тесной связи с упорядочением прав и обязанностей дворянства, полагая необходимым повысить престиж государственной службы, поднять промышленность, торговлю, создать ответственную перед твердыми законами администрацию, которая осуществляла бы власть "для всех одинаково добрую" монарха, а не господствующего сословия. Он шлет свои "мнения" о реформах в армии Петру Панину, главному авторитету в военных делах, Никите Панину — о политических преобразованиях.

В духе передовых воззрений эпохи Павел формулирует свой взгляд на соотношение таких значимых для просветительской мысли понятий, как свобода, воспитание, законность: "Как первое сокровище человека", свобода "не иным приобретается, как воспитанием, оно не может быть иным управляемо (чтоб служило к добру), как фундаментальными законами, но как сего последнего нет, следовательно, и воспитания порядочного быть не может". Ту же мысль, но в несколько ином плане Павел развивает в следующей сентенции из письма к П. И. Панину: "Спокойствие внутреннее зависит от спокойствия каждого человека, составляющего общество, чтобы каждый был спокоен, то должно, чтобы его собственные, так и других, подобных ему, страсти были обузданы; чем их обуздать иным, как не законами? Они общая узда, и так должно о сем фундаменте спокойствия общего подумать".

В 1778 г. Павел перерабатывает текст "Рассуждений", обогатив его новыми соображениями, почерпнутыми из общения со старшими друзьями. Пересылая П. И. Панину вторую редакцию трактата, он усматривает в нем обоснование и наброски своего будущего законодательства — плод совместного творчества "панинскго" кружка: "Оное есть собранные от некоторого времени „...“ материалы, служащие основанием всем на тим рассуждениям". Во всяком случае, и Д. И. Фонвизин, и братья Панины имели основания воспринимать "Рассуждения" — первый опыт выступления Павла на политическом поприще — как и выражение собственных взглядов. В этом трактате, по верному определению Н. К. Шильдера, "отражались политическая и военная мудрость обоих Паниных — Никиты и Петра". В данной связи заслуживает пристального внимания мысль историка русской литературы XVIII в. Г. П. Макогоненко о том, что "именно в ряду с „Рассуждениями“ следует рассматривать составление в конце 1770-х гг. братьями Паниными и Фонвизиным проекта фундаментальных законов, которые должен был ввести Павел после прихода к власти".

Речь идет о замечательном памятнике русской политической мысли XVIII в., фигурирующем в литературе под самыми разными названиями, но чаще всего как: "Завещание Н. И. Панина", "Конституция Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина". Итог их многолетних деяний, документ этот, составлявшийся, очевидно, с конца 1770-х гг. (после возвращения Фонвизина из-за границы в 1778 г., как полагают его биографы), но заверченный уже после смерти Н. И. Панина 31 марта 1783 г., действительно представлял собой тот самый конституционный проект, который предназначался для вручения Павлу I при вступлении его на престол.

Известные до сих пор сведения о судьбе этого проекта сводятся к следующему.

Пораженный после отставки в 1781 г. апоплексическим ударом, Н. И. Панин не мог не только писать собственноручно, но даже и диктовать сколь-нибудь связный текст. Поэтому весь проект от начала до конца был

написан по его словесным наставлениям Д. И. Фонвизиним. Существо проекта, по сжатой характеристике его племянника — декабриста М. А. Фонвизина, заключалось в предоставлении политических свобод "сначала для одного дворянства", которое наделялось широкими избирательными правами и на их основе формировало большую часть Сената и дворянские собрания в губерниях и уездах, обладавшие законодательной инициативой. Сенат облакался законодательной властью, император — исполнительной с правом утверждать и обнародовать принятые Сенатом законы. Предусматривалась постепенная ликвидация крепостничества. Собственно, в изложении М. А. Фонвизина, это был не сам проект, а идеи Н. И. Панина, составившие его, так сказать, теоретический костяк.

Помимо основного текста, имелось еще Введение в проект, хорошо известное в литературе как сочинение Д. И. Фонвизина "Рассуждения о неперменных государственных законах". После смерти Н. И. Панина Д. И. Фонвизин передал подлинник конституционного проекта в полном его составе П. И. Панину, который осенью 1784 г. готовил для вручения Павлу на случай его восшествия на престол ряд своих "Прибавлений", дополняющих этот проект соображениями об устройстве армии, правах сословий, финансах и других сторонах жизни реформирующегося государства. Кроме того, здесь была заготовка манифеста, который должен был быть издан от имени Павла-императора в момент его воцарения. В сопроводительных письмах П. И. Панин обращался к нему как к "императорскому величеству" — словом, все было рассчитано на неперменное воцарение Павла, причем воцарение не в отдаленном будущем, а в достаточно обозримый срок: сторонники Павла явно торопили время.

Это было крайне рискованно и, получи тогда дело огласку, наверняка могло быть воспринято как дерзкий вызов Екатерине II, как тайный заговор против нее.

Вот с этим комплексом документов и должен был быть представлен Павлу панинско-фонвизинский конституционный проект. Однако

основной текст П. И. Панин изъял из предназначенного цесаревичу пакета бумаг. В сопроводительном письме от 1 октября 1784 г., сообщая Павлу, что собирается отправить ему вместе со своими "Приложениями" "Рассуждения" — Введение в проект, он ложно заверял цесаревича, что самого проекта измученный болезнью Н. И. Панин будто бы вообще не успел составить. Почему так поступил П. И. Панин, сказать трудно, возможно, здесь сыграла решающую роль политическая острота конституционного проекта, покушавшегося на самое абсолютную власть Екатерины II. Впрочем, П. И. Панин не решился передать Павлу и все остальные заготовленные для него бумаги — при жизни Екатерины II они к нему так и не попали. По кончине в 1789 г. П. И. Панина все они, кроме подлинника основного текста проекта, с тех пор исчезнувшего, поступили обратно к Д. И. Фонвизину, который передал их на хранение своим друзьям — в семью петербургского губернского прокурора Пузыревского для вручения "государю-императору Павлу Петровичу". Вдова прокурора выполнила эту просьбу, передав многострадальный пакет со столь конфиденциальными бумагами новому императору. После того они 35 лет глухо пролежали в царских архивах и только в 1831 г. были обнаружены самолично Николаем I "в собственном бюро императора Павла I и в одном секретном ящике".

Вместе с тем у Д. И. Фонвизина оставался свой полный список конституционного проекта, переданный им брату, директору Московского университета П. И. Фонвизину. В разгар гонений в 1792 г. на московских мартинистов, затронувших и всех служащих университета (в глазах властей он был оплотом новиковского кружка), П. И. Фонвизин в ожидании прихода полиции с обыском истребил доверенный ему манускрипт, но, по счастью, бывшему тут же другому его брату, отцу декабриста М. А. Фонвизина, чудом удалось, по свидетельству последнего, спасти Введение.

И если его тексты, многократно, кстати, издававшиеся еще с середины прошлого века, дошли до нас благодаря снятым в свое время М. А. Фонвизиним копиям и сохранившемуся в архивах его подлиннику в

составе бумаг П. И. Панина, то сам проект, впервые в истории России конституционно ограничивавший самодержавие выборным дворянским Сенатом, с 1792 г. вообще никто не видел — скорее всего он утрачен, и видимо, безвозвратно. Во всяком случае, поиски его не дали пока никаких результатов и судить о его содержании мы могли лишь по приведенной выше его характеристики из мемуаров М. А. Фонвизина.

Но отсюда со всей несомненностью следует, что и сам Павел I в момент восшествия на престол не смог ознакомиться с предназначенным именно для него конституционным проектом (не говоря, конечно, о Введении, попавшем к нему с бумагами П. И. Панина).

Но знал ли Павел что-нибудь об этом конституционном проекте в бытность великим князем, в период его подготовки (как он, допустим, был в курсе разработки в 1770-х гг. Н. И. Паниным и его сторонниками планов государственных реформ и даже внес в это свою лепту)? В литературе считалось само собой разумеющимся, что если и знал, то лишь в общей форме, как бы со стороны. Вопрос же о более непосредственной причастности Павла к подготовке панинско-фонвизинской конституции в литературе вообще не ставился.

Так было до начала 70-х гг. нынешнего века, когда петербургский историк М. М. Сафонов обнаружил в секретных делах Государственного архива уникальные документы, позволившие наконец со всей определенностью ответить на этот вопрос.

После возвращения из заграничного путешествия поздней осенью 1782 г. Павел, лишь раз побывав у прикованного к постели и, по выражению одного историка, "политически зачумленного" тогда Н. И. Панина, вынужден был, опасаясь преследований Екатерины II, прекратить с ним всякие сношения. Только в последних числах марта 1783 г., словно предчувствуя близость рокового исхода болезни, он решился навестить своего наставника. Ф. Н. Голицын вспоминал: "За несколько дней перед кончиной графа пожаловал к нему под вечер великий князь. Тут было объяснение о всем предыдущем, — многозначительно отмечает Голицын, — но граф через несколько дней после скончался". 5 апреля 1783 г. сам

Павел сообщал Н. И. Салтыкову о посещении Н. И. Панина: "В тот вечер он весел и свеж был так, как я уже года три не видывал".

Так вот, найденные Сафоновым документы есть не что иное, как две собственноручные записки Павла, запечатлевшие последнюю его встречу с Н. И. Паниным.

Одна из записок, озаглавленная автором "Рассуждения вечера 28 марта 1783" и составленная по горячим следам в тот же самый вечер, фиксирует высказанные Н. И. Паниным в ходе беседы мысли по коренным проблемам государственных преобразований, — его своего рода политическое завещание. Причем Павел выступает здесь как лицо не только полностью с ним солидарное, но и углубляющее и конкретизирующее государственные соображения своего наставника. Очертив общий состав предстоящих реформ, их соотнесение с положением дел в других землях, Павел особо подчеркивает необходимость "согласовать „...“ монархическую исполнительную власть по обширности государства с преимуществами той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма или самого государя или частного чего-либо". Далее формулируется едва ли не важнейший момент размышлений Н. И. Панина (в интерпретации Павла): "Должно различать власть законодательную и власть законы хранящую и их исполняющую. Законодательная может быть в руках государя, но с согласия государства, а иначе без чего обратится в деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в руках под государем, предопределенным управлять государством". Затем обосновывалась мысль об учреждении выборного дворянского Сената как законы хранящей власти, уточнялись его компетенции, порядок его взаимодействия с государем, структура, территориальное деление, полномочия должностных лиц и т. д. Другая записка, никак не озаглавленная, была составлена вскоре после "Рассуждений вечера 28 марта". В ней предусматривается переход к министерской системе государственного управления в России, раскрываются судебные и законодательные функции Сената и т. д.

Любопытно, что, излагая аргументацию в пользу того или иного положения, Павел последовательно употребляет множественное число, как бы обозначая тем совместную с Н. И. Паниным позицию, но как только переходит к конкретизации этих положений и их преломлению в реальной политической жизни, начинает говорить от первого лица, от своего собственного имени ("Такое есть Сенат, оный я делю...", "Я надеюсь...", "Я оставляю прокуроров..." и т. д.). Этого не могло бы быть, если бы обсуждавшиеся с Н. И. Паниным конституционные установления он не усвоил бы как практические рекомендации в будущей своей императорской деятельности.

Не входя далее в подробности, выделим главное.

Документально устанавливается, таким образом, что Павел не только был посвящен в подготовку приуроченного к его воцарению конституционного проекта, но весной 1783 г., в последние дни жизни и первые дни после смерти Н. И. Панина, самым активным образом включился в его составление. Павел не просто усвоил коренные пункты панинской конституционной программы, но и существенно дополнил и развил ее по ряду важнейших сюжетов. При этом нельзя упускать из виду, что записи Павла, отразившие размышления Н. И. Панина и его собственные конституционные разработки, хронологически предшествовали окончанию Д. И. Фонвизиним основного текста конституционного проекта (по убедительной датировке Сафонова, это время между смертью Н. И. Панина 31 марта 1763 г. и моментом передачи Д. И. Фонвизиним конституционного акта П. И. Панину). Вполне очевидно поэтому, что конституционные разработки Павла должны были быть непременно учтены Д. И. Фонвизиним при написании им по поручению Н. И. Панина конституционного проекта — как бы влиться в общий состав его текста. Тем более, что, по предположению некоторых историков, Д. И. Фонвизин присутствовал при предсмертной беседе с Павлом. Мы говорим об этом с такой уверенностью еще и потому, что главные идеи, положения указанных выше записок Павла почти полностью совпадают с сжатой характеристикой М. А. Фонвизиним

не дошедшей до нас основной части конституционного проекта. Значит, обнаруженные Сафоновым записки Павла предоставляют чрезвычайно ценный материал для реконструкции его содержания.

В свете открытия Сафонова мы можем внести коррективы в вопрос об авторстве этого проекта. Теперь есть все основания считать его творением не только Н. И. Панина и Д. И. Фонвизина, но и великого князя Павла Петровича.

Данный вывод представляется очень важным еще по одной причине. Как мы могли убедиться, Павел, несомненно, под влиянием Н. И. Панина, в своих размышлениях о способах ограничения самодержавия и роли в этом выборного Дворянского представительства пришел к признанию принципа разделения властей как основополагающего начала будущего государственного устройства России. Значение этого трудно переоценить. Ибо принцип разделения властей, выдвинутый передовой политико-правовой мыслью эпохи Просвещения, составляет и в наши дни родовой признак, фундамент любого последовательного конституционализма. Павел же, как теперь выясняется, явился первым в династии Романовых претендентом на российский престол, кто не просто признал этот факт, но и готов был, хотя бы в течение недолгого времени, в 80-е гг. XVIII в., претворить его на практике. Обычно в нашей литературе принято конституционалистские проекты такого рода относить лишь к началу XIX в. и связывать их с именем Александра I. В этом смысле можно сказать, что, предвосхитив политику Александра I, Павел заметно опередил свое время.

По убеждениям Павла и его сторонников, "фундаментальные законы", отличающие истинную идеальную монархию от самодержавного деспотизма, обязательно должны были включать в себя такое узаконение о престолонаследии, которое бы гарантировало стабильность правящей династии и "правильное", "твердое" управление государством.

На превратностях собственной судьбы Павел должен был вернее многих других почувствовать всю разрушительность для монархической государственности в России предусмотренного петровским Уставом 1722

г. (и подтвержденного, кстати, манифестом о восшествии на престол Петра III) права царствующего монарха назначать и менять по своему усмотрению наследника престола. Право это представлялось источником политических смут, многократно потрясавших верхи русского общества, именно оно на целые десятилетия ввергало Россию в стихию непредсказуемости. Но оно, это же право, в высшей мере устраивало Екатерину II во всех ее антипавловских поползновениях.

Строго говоря, вся послепетровская история российского самодержавия взывала к пересмотру порядка престолонаследия. Не только панинская группировка, но и стоявшие за ней влиятельные и старинные дворянско-аристократические роды, оппозиционные по отношению к новой екатерининской знати придворной челяди, "выскачкам" и фаворитам, не могли не поддерживать пересмотра на этот счет законодательства.

Текст конституционного акта, завершеного после смерти Н. И. Панина, видимо, не включал в себя законодательных положений на эту тему. Можно полагать, что он и не должен был специально ее касаться, так как посвящался определению объема и механизмов собственно конституционной части государственного устройства России, его же монархическую часть был призван регулировать "фундаментальный закон" о престолонаследии. Тем не менее его значение было оговорено в первом же абзаце первой записи беседы Павла с Н. И. Паниным 28 марта 1783 г. — как слова, скорее всего им (т. е. Паниным) сказанные. После тезиса о согласовании монархического принципа с вольностью сословий как гаранта от деспотизма следовало: "Сие все полагается уже вследствие установления и учреждения порядка наследства, без которого ничего быть не может; которой и есть закон фундаментальной". Новый закон о престолонаследии трактовался, как видим, наиважнейшим, исходным для всего остального законодательства. Об "утверждении Престолу российскому единого права наследственного „...“ с предпочтением мужской персоны и колена пред женской" говорилось и в "Прибавлениях" П. И. Панина, где пункты 8 — 14 были специально посвящены этому вопросу, престолонаследие по мужской линии

провозглашалось и в рекомендованном П. И. Паниным Павлу проекте манифеста по случаю его воцарения.

Сам Павел еще в конце 1770-х гг. в переписке со старшими друзьями, имея в виду действовавший порядок престолонаследия, сетовал на то, что отсутствие в этом "фундаментальных законов" низводило Россию на степень азиатской державы. Сохранилось свидетельство о беседе Павла в феврале 1787 г. с прусским посланником Келлером, которому цесаревич говорил, что именно ему, имеющему наследников, предстоит "восстановить порядок, существовавший до Петра".

Толчком к этому послужил предстоящий отъезд Павла на театр войны с Турцией осенью 1787 г. Как раз в это же время как мы помним, движимая подозрениями в масонских связях Павла, Екатерина II предпринимает серьезные усилия по лишению прав Павла на престол в пользу внука. Совпадение чрезвычайно знаменательное и, надо думать, совсем не случайное. Придворная атмосфера была, видимо, настолько насыщена слухами об этих усилиях императрицы, а Павел уже тогда столь остро ощущал опасность для себя при таком повороте событий, что счел неотложным принять меры самозащиты по той же династической линии. Далее мы еще увидим, как в то самое время, когда Екатерина II стремилась, лишив сына прав на престол, устранить его политически, а возможно, и физически (ведь ходили же тогда слухи, что он будет заточен в отдаленный замок Лоде), Павел уповал — ни больше ни меньше — на смерть матери.

Так, на случай непредвиденных обстоятельств в связи с пребыванием в действующей армии, Павел, побудив предварительно Марию Федоровну отказаться от мысли когда-либо царствовать самостоятельно, подписал вместе с ней 4 января 1788 г. акт о новом порядке престолонаследия, "дабы государство не было без наследника; дабы наследник был назначен всегда законом самим; дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать и дабы сохранить право родов в наследии, не нарушая права естественного и избежать затруднений при переходе из рода в род". Этот всеобъемлющий принцип был тут же реализован в указании на

право первородства по мужской линии царствующего дома и соответственно — в объявлении наследником престола их старшего сына великого князя Александра, после же него — всего его мужского поколения и т. д.

Этим, однако, Павел не ограничился. Предвидя любые неожиданности при своем отсутствии в столице, он намечает еще ряд мер, призванных предотвратить какие-либо беспокойства в стране и в царской семье. Тем же 4 января 1788 г. датированы письмо его к сыновьям, завещание о распоряжении своим имуществом и личными вещами, письма к жене, в которых касается совсем уж, казалось бы, предельных ситуаций. Наконец, Павел пишет "Наказ" из 33-х пунктов об управлении без него государством. В нем, в частности, немало сказано о законодательной деятельности органов власти, предусмотрены меры по кодификации, определены функции Государственного совета и номенклатура высших должностей министерского типа, роль дворянства в поддержании в государстве законности, права и обязанности духовенства, "среднего состояния", помещичьих, государственных крестьян, выдвинута умеренная внешнеполитическая программа и т. д. Вместе с тем в "Наказе" отчетливо видны централизаторские устремления Павла, свойственные другим, в том числе более ранним его политическим мнениям. В организации монархической власти Павел уже тогда придавал слишком большое значение ее вертикальному срезу, проведенному сверху донизу принципу единоначалия и т. д., что, безусловно, отличало его позицию от взглядов на построение государства Н. И. Панина и Д. И. Фонвизина.

В одном из писем к жене Павел предписывает образ ее действий на случай внезапной смерти Екатерины II (притом, что его самого не будет еще в Петербурге). Марии Федоровне следовало немедленно привести к присяге Павлу как единственно законному императору все правительственные учреждения и до его приезда объявить себя правительницей империи. Вместе с тем Павел обязует Марию Федоровну срочно опечатать кабинет Екатерины II и вообще все ее бумаги, где бы

они ни находились, представив к ним надежную охрану. Можно догадываться, что Павел при этом более всего опасался, что Екатериной II уже заготовлены какие-то секретные документы, подвергающие сомнению его династические права, и если бы они вышли на поверхность, это сильно бы осложнило перспективу его утверждения на престоле.

В другом письме Павел наставляет Марию Федоровну, как ей вести себя в том случае, если смерть настигнет и Екатерину II и его самого. Ей предстояло тогда, в соответствии с подписанным ими актом о престолонаследии, немедленно провозгласить императором великого князя Александра и привести к присяге ему столичных должностных лиц. Но — любопытная оговорка — "если сын мой большой останется малолетен", в таком случае Марии Федоровне следовало объявить себя правительницей до достижения им совершеннолетия. Значит, Павел предполагал и такую возможность, что смерть Екатерины II и его собственная наступят в тот момент, когда Александр будет уже не "малолетен", а достигнет 16 лет — порога совершеннолетия, как то устанавливалось в этом же письме Марии Федоровне.

Отсюда уже нетрудно заключить, что, подписывая в тот момент, в январе 1788 г., свои распоряжения, Павел имел в виду и более длительное их применение. Иными словами, он рассматривал свои завещательные документы во всем их комплексе не как сиюминутное волеизъявление, а как постоянно действующие наследственные акты.

Как мы видели, в основе всех его исходных посылок, так же как и в основе самого конституционного проекта, завершенного после смерти Н. И. Панина Д. И. Фонвизиним, лежал расчет на смерть Екатерины II. Отвлекаясь от придворных нравов эпохи (а в этом трудно было бы не увидеть трагическую коллизию шекспировской силы), зададимся вопросом: насколько легитимны были действия Павла, как расценить их с точки зрения монархического правосознания (если в данном случае такой термин вообще уместен). Вдумаемся на мгновение в эту далеко не ординарную ситуацию, оставаясь в пределах чисто формальной стороны

дела: ведь великий князь, всего лишь наследник трона при живой, царствующей матери-императрице, на верность которой присягали в свое время, он сам и все российские подданные, считает себя вправе, игнорируя ее волю, определять будущее династии, тогда как, по принятому законоположению, только ей одной принадлежало право нераздельно распоряжаться судьбами российского престола. Ответ на этот вопрос в контексте многолетнего противостояния матери и сына вряд ли будет однозначен. Ибо при всем том нельзя не отдать должное серьезности намерений Павла, озабоченного не только и даже не столько тем, что произойдет с ним лично, а участью и благополучием государства. Что же до стремления Павла обеспечить свои династические интересы, проистекавшие из глубокого убеждения в законности своего права на престол, то они в его сознании неразрывно сливались с интересом государственным.

Если указанный выше конституционный проект был составлен благодаря совместным усилиям Н. И. Панина, Д. И. Фонвизина и его самого, то "фундаментальный закон" о престолонаследии и сопутствующие ему распоряжения были плодом собственного творчества Павла, и здесь он мог в большей мере выказать свою самостоятельность. И надо признать, что Павел всесторонне учел изъяны предшествовавшей практики престолонаследия, до деталей продумал все могущие возникнуть неожиданности и осложнения и в итоге оказался прав в главном своем расчете, поскольку его вступление на престол в ноябре 1796 г. совершилось по той же, примерно, схеме, которая была им намечена еще в январе 1788 г.

Свои плодотворные следствия имели и выработанные Павлом и его сторонниками в 1770-1780-х гг. основания его будущей политики. Многие из того, что было тогда намечено в области военного дела, административного устройства, сословной политики и т. д., воплотилось потом в ряде законов и практических мер Павла I. Достаточно сказать, что знаменитый закон Павла I о престолонаследии от 5 апреля 1797 г., определивший с юридической точки зрения устойчивость династии

Романовых вплоть до 1917 г., почти дословно воспроизводил акт о порядке престолонаследия от 4 января 1788 г. "Император Павел, — писал по этому поводу М. В. Ключков, — за редким исключением, в своей правительственной деятельности отчетливо и ясно проводил взгляды окончательно сложившиеся у него еще до воцарения и нашедшие себе достаточное выражение в его наказе 1788 года".

Однако многое, очень многое и важное из того, что было задумано Павлом и его сторонниками в 1770-1780-х гг., не получило никакого воплощения. Касается это прежде всего собственно конституционалистской части их реформаторских планов, а уже к исходу 1780-х гг. искания Павла в этой области были исчерпаны.

Более того, с точки зрения основ государственного устройства, Павел I по своему воцарении стал поступать совершенно противоположным образом тем принципам, которые разделял прежде. Парадокс заключается в том, что, вынашивая в бытность наследником идеи конституционного ограничения посредством "фундаментальных законов" самодержавного деспотизма, Павел I на деле оказался одним из самых деспотических самодержцев в России.

Произошло это в силу ряда обстоятельств.

Укажем лишь на главнейшие.

На первое место среди них надо, конечно, поставить многолетнюю эволюцию характера Павла, приведшую в середине 1790-х гг. к деформации самой его личности, повседневными проявлениями которой стали деспотические замашки, произвол, сумасбродные выходки, уничижительное высокомерие в обращении с окружающими и т. д. — обо всем этом уже было сказано выше. Наивно было бы думать, что глубокие сдвиги в психологическом складе врожденно нормального человека не затронули бы его политического мирозерцания, ибо человек един и неделим и по природе вещей не способен раздваиваться до такой степени, чтобы свойства его личности столь круто менялись, а взгляды по коренным вопросам социального бытия оставались бы прежними.

Но этого общего объяснения было бы, разумеется, недостаточно, если

бы мы не знали, как сильно и необратимо повлияла на духовный мир Павла Французская революция.

Падение веками казавшегося незыблемым монархического строя, угрожающий вызов революции европейским монархическим государством, буйства черни, преследовавшей знатные аристократические роды, кровавый террор, страшная участь на эшафоте Людовика XVI и Марии-Антуанетты — все это привело Павла в состояние ужаса и ожесточения. Недаром современники считали 1793 г. временем решительного перелома в его характере. Павлу всюду мерещились отпрыски революции, в любом офицере он готов был видеть якобинца и все более склонялся к необходимости самых жестоких деспотических мер пресечения этого наваждения, необходимость править в России "железной лозой".

Естественно, что на таком фоне провозглашенные в ходе революции конституция и объявление Франции республикой, как ничто другое, навсегда вытравило из его сознания былые конституционные идеалы. "Если молодой Павел „..." связывал свое будущее с конституционными гарантиями (проект Панина — Фонвизина), то 1789-1794 годы окончательно „отбили охоту“ у него к поискам таких форм" (Н. Эйдельман).

Вот при таких политических воззрениях Павел и вступил на престол.

На троне: вместо эпилога

Царствование Павла I было многократно описано в литературе — от учебных пособий до исторических романов почти что детективного толка. Мало-мальски любознательный читатель без труда найдет здесь сведения о политическом курсе Павла I внутри страны и о его деятельности на дипломатической арене, о войнах, которые тогда довелось вести России, и конечно же о знаменитых походах А. В. Суворова в Италию и Швейцарию. Найдет он здесь немало интересного и занимательного и о важнейших событиях павловского четырехлетия, включая и трагические обстоятельства дворцового переворота 11 марта 1801 г. и т. д. Особенно

ярко, достоверно, впечатляюще обрисован облик Павла I — императора в упомянутой выше книге Н. Эйдельмана "Грань веков", выдержавшей уже четыре издания.

Отсылая читателя к этой обширной литературе, мы — как бы в завершение всего сказанного — остановимся лишь на некоторых существенных чертах "государственной философии" Павла I и ее преломлении в реалиях его царствования.

Но сперва — несколько слов об одном государственном акте Павла I в первые же дни пребывания на престоле, потрясшем воображение соотечественников: ничего подобного Россия до того не видывала. Он вознамерился публично перезахоронить бранные останки Петра III, воздав ему все подобающие при сем случае царские почести, но не просто перезахоронить, а совместить это с похоронами матери. Стоит здесь напомнить, что Петр III, умерший не царствующим, а отрекшимся от престола монархом, был похоронен не в Петропавловском соборе — традиционной, начиная с Петра I, усыпальнице российских императоров, а в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Здесь его прах благополучно покоился в течение 34 с лишним лет, и вот теперь ему предстояло заново быть похороненным вместе с прахом только что скончавшейся Екатерины II в Петропавловском соборе. Записи камер-фурьерских журналов — официальной придворной хроники — странным образом умалчивают об этом важном эпизоде, в иных случаях они попросту утрачены, но, по справедливому предположению Н. К. Шильдера, скорее всего уже 8 ноября 1796 г. Павел I распорядился вынуть гроб с останками Петра III из могилы и поставить его там же, в Благовещенской церкви. 9 ноября он повелел отслужить панихиду по Петру III в церкви Зимнего дворца, затем последовало "Объявление": "каким порядком по их императорским величествам блаженной и вечной славы достойной памяти великом государе Петре Федоровиче и великой государыне императрице Екатерине Алексеевне траур во весь год на четыре квартала быть имеет, начиная от 25-го ноября".

Из этого можно было заключить, что Петр III скончался одновременно с

Екатериной II, а до того 34 с лишним года они в трогательном согласии и в одном и том же императорском сане правили страной, из чего, между прочим, следовало, что царствование Екатерины II во всем своем самостоятельном значении словно бы исчезало с исторической арены.

Еще 19 ноября по повелению Павла I прах Петра III в Благовещенской церкви был переложён в новый, отделанный знаками царского достоинства гроб, и в тот же день сюда прибыл новый император с императрицей и детьми, при этом гроб был открыт — царская семья как бы прощалась с покойным. То же произошло 20 ноября, а 25-го — в присутствии великих князей и придворного штата Павел I совершил там нечто такое, что привело в содрогание окружающих: взойдя в царские ворота и возложив на себя заранее приготовленную императорскую корону, он тут же, при возглашении вечной памяти, положил ее на гроб Петра III, то есть короновал на царствование мертвого императора. (Петр III, правивший всего полгода, не успел провести требовавшей основательной подготовки своей коронации). 2 декабря состоялось торжественное перенесение гроба с останками Петра III в сопровождении войск и следовавшей за ним в трауре императорской семьи и придворных в Зимний дворец, где он был установлен на катафалке рядом с гробом Екатерины II. В печальной процессии выделялся своим громадным ростом граф А. Г. Орлов, которого многие считали тогда убийцей Петра III, — именно ему Павел приказал нести императорскую корону. 5 декабря оба гроба были перевезены в Петропавловскую крепость, где на две недели выставлены для всеобщего поклонения, и, наконец, 18 декабря останки Петра III и Екатерины II были преданы земле.

Мы потому так подробно коснулись церемонии перезахоронения Петра III, что в ней как в зеркале отразились характерные черты личности и умонастроений Павла I в этот переломный в его жизни момент восшествия на престол, его переживания прошлых лет и наметки стиля будущего правления. Павел придавал этому акту слишком большое значение, чтобы не продумать до мельчайших деталей весь ритуал театрализованно-траурного, полного острых исторических ассоциаций,

растянувшегося на сорок дней действия.

Ф. Г. Головкин считал, что этим он хотел "опозорить память своей матери". Несомненно, тут есть известный резон. Растворив похороны столь много сделавшей для России за свое блистательное в целом царствование Екатерины II, еще при жизни нареченной великой, заслужившей самые высокие знаки посмертного внимания современников, в трагикомическом фарсе перезахоронения ее незадачливого мужа, Павел I конечно же мстил матери. Но из-за одного этого он вряд ли бы затеял столь длительный и многотрудный маскарад. Его нельзя объяснить и только тем, что Павел I старался просто восстановить историческую справедливость в отношении незаслуженно отвергнутого современниками Петра III, воздать ему, так сказать, задним числом то, что он так и "недополучил" при жизни и сразу же после смерти, — мы ведь не знаем, да, наверное, никогда и не узнаем, что действительно таилось в недрах его души насчет Петра III.

Дело в том, что для Павла I было принципиально важным посредством всей этой заgrabной церемонии публично признать отцом того, кто сам не желал признавать его ни своим сыном, ни наследником престола. Н. А. Саблуков, один из наиболее проницательных и осведомленных мемуаристов-современников Павла I, верно заметил, что он стремился всем этим "положить предел слухам, которые ходили на его счет", а слухи эти, поясняет Саблуков, напоминали о старинном плане Петра III незадолго до свержения объявить Екатерину виновной в прелюбодеянии, а Павла — незаконнорожденным, заключив их в Шлиссельбургскую крепость и т. д. "Все эти события, — продолжал Саблуков, — засвидетельствованы в архивах и были хорошо известны многим лицам, в то время (в середине 1790-х гг. — А. Т.) еще живым, которые были их очевидцами". Именно в этом, как нам думается, и состоял глубинный смысл всех усилий Павла I по перезахоронению останков Петра III: возродив представление о нем как законно правившем Россией императоре, официально и всенародно провозгласив его своим отцом, Павел I выбивал, таким образом, почву из-под могущих снова всплыть

толков о темных обстоятельствах своего происхождения, о сомнительности потому прав на престол и т. д. Тем самым он еще раз подтверждал легитимность своей императорской власти.

Павел I и здесь повел себя достаточно последовательно. В конце января 1797 г. он издал Указ Сенату, в котором предписывал сохранившиеся в государственном делопроизводстве печатные листы известного манифеста Екатерины II от 6 июля 1762 г. о кончине Петра III "выдрать" и доставить генерал-прокурору (речь, видимо, шла вообще о всех публикациях манифеста). По исполнении этого указа Павел I распорядился все листы с манифестом сжечь в Тайной экспедиции, оставив только два экземпляра для справок. Он знал, что делал: полный поношений Петра Федоровича, осуждавший всю политику его кратковременного царствования, включавший в себя унижительный для его памяти акт отречения, екатерининский манифест 1762 г. резко диссонировал с только что оказанными ему посмертными почестями.

Можно вместе с тем сказать, что всей этой историей с перезахоронением Павел I сводил счеты и со своим прошлым, окончательно разрывал с тяготевшим над ним столько лет призраком Петра III, и в данном отношении его поступки, несмотря на всю их экстравагантность и даже известную кощунственность с точки зрения христианских правил, имели свою непреложную логику и свое психологическое оправдание.

Передавая впоследствии свои впечатления о первых шагах Павла I на престоле, современники чаще всего писали о внезапных переменах, часто внешнего свойства, о "крутых мерах" в повседневном быту, когда, по выражению мемуаристов, все вдруг "перевернулось вверх дном". Вспоминали о полицейской опеке над частной жизнью, о вакханалии стремительных и взаимоисключающих распоряжений Павла I, о запретах на определенные фасоны одежды, причесок, о мгновенном изменении в наружном виде столиц, в облике военных и гражданских чинов и т. д. Но мало кто видел тогда за всем этим знак "крутых перемен" в самих основах государственного существования, которые несло с собой новое царствование.

Как уже отмечалось, из горнила драматических переживаний первых революционных лет Павел вышел непреклонным сторонником укрепления абсолютизма. Только это могло поставить надежную преграду разрушительному французскому наваждению и спасти тем самым "старый порядок" не только в России, но и в Европе в целом. Надо полагать, что еще до воцарения Павел пришел к убеждению, что наилучшей — а в принципе и предельной — формой такой власти является единоличное монархическое правление, опирающееся на централизованную, бюрократически организованную сверху донизу администрацию.

К тому побуждали и условия самой России, где престиж самодержавия заметно пошатнулся — не оттого лишь, что оно пало в конце века во Франции, но и в ходе исторических событий послепетровского времени, причем не только от отсутствия положительного закона о престолонаследии. Сама идея незыблемости самодержавной власти была основательно поколеблена и дворцовыми переворотами, и широким распространением в стране просветительских идей. Ими, в частности (теории "естественного права", "общественного договора"), был основательно запутан, с точки зрения традиционного религиозно-монархического сознания, вопрос об источниках и природе монархической власти. Теперь, в свете уроков Французской революции, это становилось все более очевидным.

Не подлежало сомнению, однако, что столь возвысившееся над эмпирической реальностью самодержавие не могло в тех условиях иметь духовной опоры в толще населения, не будь основательно освящено божественной санкцией, и Павел глубоко, почти мистически уверовал в божественное происхождение своей власти.

Но для убедительного обоснования этого постулата православная церковь, к исходу XVIII в. изрядно скомпрометированная своей зависимостью от верховной светской власти и теми же просветительскими влияниями и вместе с тем вообще не столь авторитетная, как католичество в Западной Европе, была непригодна. Павел, сообразно со своими индивидуальными культурно-историческими

пристрастиями и нравственными понятиями, обратился к средневековому рыцарству с его репутацией благородства, бескорыстия, беспорочной службы чести и т. д. (Интерес к рыцарству еще в детские годы захватил воображение Павла, средневековая рыцарская обрядность была не чужда и масонству, с которым Павел так тесно был связан в конце 1770-1780-х гг.) Принципами жизнеустройства и мирозерцания этого давно сошедшего с исторической арены феодального сословия Павел и стремился усилить сакральное значение своей власти.

"Рыцарство против якобинства", облагороженное неравенство против "злого равенства" и мнимой "свободы" санкюлотов — таков был политический смысл павловской апелляции к средневековью, острие которой было в то же время направлено и против цинизма и лжи екатерининского царствования.

В своем обращении к средним векам Павел был далеко не одинок — идеализация социальных и духовных ценностей средневековья как форма феодально-клерикальной реакции на Французскую революцию и Просвещение XVIII в. была в высокой степени характерна для различных направлений западноевропейской и русской охранительной мысли. В этом смысле выдвинутая Павлом модель средневекового рыцарско-теократического государства может быть расценена как выражение консервативно-утопического сознания той переходной эпохи.

Близко наблюдавшие Павла I люди не раз отмечали черты рыцарственности в его характере (высоко развитые понятия о чести и достоинстве, великодушии, выражавшиеся, в частности, в готовности принести публичные извинения незаслуженно обиженным и т. д.). Именно эти черты он возвел в принцип своего бытового и общественного поведения. Насколько глубоко они проникли в душевный склад Павла I, видно из следующего примечательного эпизода. Когда в декабре 1800 г. между державами антинаполеоновской коалиции никак не удавалось добиться согласия, Павел I всерьез намеревался вызвать на дуэль их государей и первых министров, чтобы таким старинным рыцарским способом решить международные противоречия, — вызов на дуэль

(картель), собственноручно написанный Павлом I, был тогда же напечатан в иностранных и российских газетах.

Из рыцарской доминанты естественно проистекала повышенная знаковость павловского общественного устройства, насаждение которой столь остро воспринималось современниками. Это и неукоснительное внимание к четкой регламентации публичных и частных отношений. Это и особая роль (строже всего соблюдаемая при дворе и армии) этикета, иерархии почестей, эмблемы, цвета, жеста т. д. Это, как мы уже видели на примере описания перезахоронения Петра III, и культ парада, ритуала, театральности и вообще эстетического начала в повседневном обиходе (сам Павел был наделен безукоризненно изысканным художественным вкусом, особенно в области прикладных искусств, и знатоки вот уже почти 200 лет толкуют о павловском стиле в мебели, фарфоре и т. д.).

Ярким проявлением приверженности Павла I к рыцарской идее явились его отношения с Орденом иоаннитов на Мальте. Чудом доживший до нового времени осколок объединения рыцарей-крестоносцев, католиков-иезуитов, Мальтийский Орден во второй половине 1790-х гг. оказался из-за грозных событий Французской революции в крайне тяжелом положении и вынужден был искать защиты у глав европейских монархий. Иезуиты еще в конце царствования Екатерины II обосновались в России, а с воцарением ее сына стали добиваться его участия в мальтийских делах. Павел I (уже в детских играх он представлял себя "кавалером Мальтийским") в декабре 1797 г. принял Орден под свое покровительство. С тех пор Мальта стала оказывать все большее влияние на идеологию павловского царствования, на внутривнутриполитические дела, а отчасти даже играть роль и регулятора внешнеполитических отношений. Захват Наполеоном летом 1798 г. Мальты подтолкнул Павла I, который после воцарения, соответственно своей изоляционистской дипломатической программе 1770-1780-х гг., проводил линию на невмешательство в европейские дела, к решительному выступлению против Франции. Позже, вследствие захвата Мальты адмиралом

Нельсоном в августе 1800 г., Павел I также резко разорвал отношения и с Англией.

В сентябре 1798 г. он принял Мальтийский Орден под свое верховное руководство, а в ноябре возложил на себя достоинство великого магистра Ордена. И уже в этой ипостаси Павел I издал манифест, устанавливавший "заведение Ордена „...“ в пользу благородного дворянства империи Всероссийской". Указание на достоинство "Великого магистра Ордена св. Иоанна Иерусалимского" вошло в состав общей титулатуры Павла I, изображение мальтийского креста было внесено в государственный герб, а сам крест включен в систему высших российских орденов.

Как магистр католического Ордена, покровитель иезуитов в России, Павел I неизбежно стал сближаться с папой Пием VII. Между ними установилась переписка, император пригласил папу переселиться в Россию, если враждебная политика Наполеона сделает невозможным его пребывание в Италии. Пий VII, со своей стороны, выражал удовлетворение тем, что Павел I стал великим магистром Мальтийского Ордена, и буквально за несколько недель до рокового дня 11 марта 1801 г. официально передал через дипломатического представителя России, что готов приехать в Петербург для переговоров о соединении церквей, — разговоры о такого рода намерениях Павла I почти открыто велись тогда в европейских столицах и в Петербурге. Но если они и имели под собой хоть какую-то почву, то речь шла, конечно (при всей веротерпимости Павла I) не об отказе России от православия и переходе в католичество, а о некоем союзе едиnodержавного российского монарха с вселенской Церковью (напомним, что близкую к этому идею вынашивал в те же годы и Наполеон, заключая конкардат с папой).

Как бы то ни было, нельзя не признать, что к концу царствования Павел I сильно преуспел на пути утверждения теократического принципа своей государственности. Начало же этому было положено им еще при своей коронации 5 апреля 1797 г., когда первым же ее актом Павел I объявил себя главой Церкви и, прежде чем облечься в порфиру, приказал

возложить на себя далматин — одну из регалий византийских императоров, совмещавших, как известно, с внешней светской властью главенство над православной церковью.

Павел I искренне хотел привнести этические нормы и духовный опыт средневекового рыцарства в русский общественный уклад, в жизнь дворянского сословия. Нетрудно, однако, понять, что именно в этом чрезвычайно важном для "государственной философии" Павла I пункте она оказывалась особенно утопичной, приходя в непримиримое противоречие с реальностями эпохи. Ибо и Россия в целом при всей своей отсталости находилась не в глубоком средневековье, а в совершенно иной системе культурно-исторических ценностей, в сущности, на пороге новой цивилизации. И российское дворянство, уже достаточно неоднородное, не могло воспринять — по разным причинам, конечно, — "рыцарской" прививки: и косневшая в крепостнических предрассудках основная масса дворян-помещиков, и развращенная Екатериной II и Потемкиным верхушка столично-гвардейского дворянства, и его просвещенные слои, в наибольшей степени сумевшие воспользоваться дарованными самодержавием еще в 1760-1780-х гг. "вольностями".

Но рыцарская утопия Павла I была противоречива и внутри самой себя. Ведь рыцарство уже по определению непременно предполагает наличие определенного минимума сословных свобод личности (даже еще в рамках средневекового мировидения), ее нравственную независимость от вышестоящих по иерархии институтов, в том числе и от самого монарха. Но в той государственной системе, которую готовил для России Павел I, такое положение вещей решительно исключалось. Любое свободное волеизъявление могло натолкнуться на всевластие возвышающегося над всем самодержца — только он один обладал безграничной свободой, все остальные в одинаковой мере были ее лишены, не важно, касалось ли это бесправного мужика или знатного, титулованного дворянина. "Знатен только тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю" — в этих словах императора, сказанных французскому посланнику, вся суть

павловского режима. "Отправляя, в первом гневе, в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря", — писал крупный полицейский чин той эпохи Я. И. де Санглен, — Павел I "научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно".

Павел I принципиально не терпел каких-либо "врожденных" привилегий или преимуществ одного сословия сравнительно с другим и все свое царствование их целеустремленно искоренял, не признавая социально-правовой самостоятельности сословий вообще.

Это не значит, что Павел был противником сословного разделения российского общества или не видел особого места дворянства в государственной организации. Нет, оставаясь по своему типу и историческим корням феодальным монархом, он полагал, что дворянство — "подпора государя" — естественный носитель рыцарских достоинств, и был озабочен, вопреки петровской Табели о рангах, проникновением в его состав выходцев из других "состояний". Единственно, что он требовал от дворян, так это их обязательной, подобно остальным сословиям, службы на благо и в пользу государства (тем самым социальная структура русского общества как бы возвращалась почти на столетие назад — к порядкам и нравам Петра I). Павел I так высоко стоял над ними, что все подданные, независимо от сословной принадлежности, по отношению к нему выступали как одна общая масса и в этом плане были между собой равны. Здесь отчетливо видно, кстати, как тесно смыкались по своим конечным политическим результатам внедряемое сверху деспотическое равенство подданных и лозунги "всеобщего равенства" революционных "низов". Недаром Н. М. Карамзин сравнивал Павла I с якобинцами.

Проявления этого равенства принимали иногда внешне весьма демократические и в России до того почти неизвестные формы. Так, первый же изданный Павлом I манифест о вступлении на престол объявлял о приведении к присяге наравне с привилегированными сословиями и крепостных крестьян — с воцарения Елизаветы Петровны, то есть более пятидесяти лет, оно к ней не допускалось, и это было

заметным новшеством в государственной практике самодержавия, которое не могло пройти бесследно для крестьянского самосознания. По свидетельствам многих мемуаристов, вскоре по вступлении на престол Павел I распорядился установить на первом этаже Зимнего дворца желтый с прорезью ящик, куда любой подданный империи мог опускать свои жалобы и прошения, Павел же каждый вечер вынимал их из ящика, внимательно их прочитывал, накладывал свои резолюции об исполнении тех или иных просьб и т. д.

Желтый ящик являл собой, таким образом, некий символ стоящей в равной мере над всеми абсолютной власти императора.

Он вообще не питал пристрастий к какому-либо одному сословию или классу, ощущая себя по преимуществу государем всех сословий, всего народа — именно в этом общенациональном значении термина (из чего не следовало бы делать опрометчивый и глубоко неверный вывод о Павле I как царе-демократе).

Отсюда становятся понятны основы социальной политики Павла I, смысл которой состоял в поддержании равновесия между сословиями, известного уравнения их в правах и обязанностях. Правда, уравнивание это далеко не всегда происходило путем подтягивания нижестоящих сословий до уровня вышестоящих, иногда дело сводилось к понижению последних до уровня нижестоящих. И это было, по меткому выражению В. О. Ключевского, не "превращение привилегий некоторых классов в общие права для всех", а превращение "равенства прав в общее бесправие". Например, Павел I не наделил крепостных крестьян правом местного самоуправления с тем, чтобы хоть как-то приблизить их к привилегиям дворянства с его выборной корпоративной организацией в губерниях и уездах, а фактически ликвидировал корпоративные дворянские права на губернском уровне. Или, скажем, оставив почти в неприкосновенности институт телесных наказаний для крестьян, он вместе с тем издал указ, разрешающий применение телесных наказаний к дворянам при условии предварительного лишения их дворянского звания.

Можно теперь, как нам кажется, внести некоторую ясность в многолетние споры в исторической литературе о социальной ориентированности политики Павла I. Так, широкое распространение получил взгляд на Павла I как на типично дворянского монарха, сознательно проводившего линию на укрепление имущественного положения помещиков за счет усиления крепостнической эксплуатации. В одной из недавних работ Павел I так и назван "открытым проводником интересов крепостников-помещиков". По мнению других историков, социальная политика Павла I однозначно строилась на защите интересов крепостного крестьянства и имела отчетливо выраженный антидворянский характер.

В свете сказанного, однако, сама эта жестко альтернативная постановка вопроса представляется с той и другой стороны исторически некорректной и бесперспективной, ибо, как мы уже видели, действия Павла I в данной области регулировались не специфическими пристрастиями или антипатиями к отдельным сословиям, а общими уравнительными принципами его сословной политики.

Поскольку же исторически сложилось так, что дворянство — господствующее сословие России — обладало громадными привилегиями сравнительно с остальным населением и особенно с полностью бесправным в этом плане крепостным крестьянством, то вполне понятно, что уравнительные акции Павла I прежде и более всего ущемляли интересы дворянства, как гражданского, так и военного, в первую очередь служившего в гвардии. Тем более что, по мнению Павла I, оно было вконец развращено в последний период царствования Екатерины II. Наиболее сильно и болезненно, как известно, репрессии Павла I затронули верхушку дворянства, столичную аристократию и гвардейское офицерство, что в значительной мере и предопределило возникновение против него в 1800-м — начале 1801 г. дворцового заговора.

Более сложен вопрос о крестьянской (в широком смысле слова) политике Павла I. Здесь мы сталкиваемся с такими явлениями, которые тоже никак не могут быть объяснены расхожими в советской

историографии догмами о Павле I — заурядном крепостнике. Вообще надо полагать, что в глубине души Павел, воспитанный в гуманном духе европейского просветительства, также, как, впрочем, Екатерина II и Александр I, никогда не сочувствовал крепостническим порядкам, понимая всю их пагубность для России в нравственном, социальном, экономическом отношениях, а следы такого образа мыслей, несомненно, отразились еще на его трактатах и проектах 1770-1780-х гг.

Сторонники указанного выше мнения о Павле I — проводнике сугубо крепостнической политики ссылаются чаще всего на тот факт, что за время своего царствования Павел раздал в частное владение громадный массив земель с населяющими их почти 600 тысячами казенных крестьян. Но при этом не принимается во внимание одно немаловажное обстоятельство. По многим авторитетным свидетельствам современников, Павел I был глубоко убежден в том, что помещичьи крестьяне, которых должны отечески опекать их владельцы, живут в России гораздо лучше казенных, терпящих злоупотребление и произвол местных чиновников, а центральная власть призвана следить за исправным исполнением помещиками своих обязанностей перед крестьянами, — по такой патримониальной схеме мыслилось Павлом I положение дел в крепостной деревне (дворяне-помещики были в его глазах вообще как бы даровыми полицмейстерами). Такой взгляд Павлу I мог подсказать и его собственный опыт гатчинского помещика по благоустройству жизни своих крестьян или более высокий сравнительно с казенными уровень жизни крестьян во вновь образованном им удельном ведомстве. Но насколько адекватно при этом оценивал Павел I состояние различных категорий крестьян, — это уже другой вопрос, нас же сейчас интересует его личность, субъективные мотивы его политического поведения.

В этом отношении не может не привлечь нашего внимания целая серия правительственных актов, уже прямо удовлетворявших крестьянские интересы, причем они были изданы Павлом I в первые недели царствования с такой быстротой и последовательностью, что можно предположить, что их подготовка велась по заранее продуманному

плану. Так, уже 10 ноября 1796 г. был отменен объявленный еще при Екатерине II и чрезвычайно обременительный рекрутский набор, 10 декабря отменена разорительная для них хлебная подать, 16 декабря с крестьян (и мещан) снята недоимка в подушном сборе, 27 ноября крестьянам предоставлено право апелляции на решения по их делам судов, а затем — и право подавать жалобы на помещиков, в том числе и на имя самого государя — то и другое было строго воспрещено екатерининским законодательством. 10 февраля 1797 г. издан указ о запрещении продавать дворовых и крепостных без земли, а 16 октября 1798 г. — о запрете продавать без земли малороссийских крестьян. Оба эти указа ясно давали понять, что, на взгляд Павла I, крестьяне могут быть прикреплены к земле, но не составляют личной собственности помещиков. Если же мы учтем особую заботу Павла I о солдатах, о реальном улучшении условий их службы и материального существования, о недопущении, при всей суровости и формализме воинской дисциплины, жестокого обращения с ними, то очертания позиции Павла I в крестьянском вопросе (а солдаты — это те же крестьяне, одетые в шинели) станут еще более отчетливыми.

Но она окончательно прояснится, когда мы вспомним о едва ли не главном деянии Павла I в отношении крепостного крестьянства — о так называемом законе о трехдневной барщине. Собственно, это не закон о трехдневной барщине, а помеченный 5 апреля 1797 г. манифест, возвещавший милости Павла I народу, и на первое место поставлено в нем запрещение принуждать крестьян к работам в воскресные и праздничные (по церковному календарю) дни — эта часть манифеста действительно имела силу закона. Далее же было указано на деление оставшихся шести дней недели поровну между работами крестьянина на себя и на владельца, то есть официально признавалось достаточным не более чем трехдневное использование помещиком крепостного труда, и хотя эта часть манифеста имела характер сентенции, она также была воспринята как обязательная норма. Впервые в России законодатель-самодержец встал между помещиком и крестьянином, жестко

регламентировав крепостническую эксплуатацию.

Историки, стремившиеся преуменьшить значение этого манифеста, ссылались обычно на его практически малую применимость в хозяйственной жизни. (Строго говоря, эта сторона дела в сколь-нибудь значительном хронологическом и территориальном масштабе специально не исследовалась, равным образом до сих пор остается не изученным не менее важный вопрос о влиянии манифеста 5 апреля 1797 г. на крестьянское сознание). И тут мы сталкиваемся с подменой одной темы другой, ибо дело касается субъективных побуждений Павла I, направлявших его политику в крестьянском вопросе. А в этом плане нельзя не отметить еще одного упущения историков, обращавшихся к данному манифесту, — чаще всего он рассматривался лишь как один из очередных правительственных актов, в полном отрыве от тех обстоятельств, которыми он непосредственно был вызван к жизни.

Манифест датирован 5 апреля 1797 г., днем коронации в Москве Павла I — и этим все сказано. Вне коронационных торжеств он не может быть правильно понят. Начались они, как мы помним, с того, что Павел I объявил себя главой Православной Церкви, затем состоялось само коронование его и императрицы Марии Федоровны, после чего, исполняя свое давнее желание, Павел I самолично огласил Акт о престолонаследии, составленный еще в 1788 г., потом были прочтены "Учреждение об императорской фамилии" и "Установление о российских орденах" и, наконец, объявлен Манифест о милостях народу, но ни о каких других милостях сословиям объявлено в нем не было, равно как 5 апреля 1797 г. вообще не было обнародовано никаких иных узаконений Павла I.

Поставив этот манифест в один ряд с основополагающими коронационными актами своего царствования, Павел I уже одним тем доказал, какое исключительное государственное значение он ему придавал, несомненно видя в нем документ программного характера для решения крестьянского вопроса в России. В самом деле, манифест от 5 апреля 1797 г., взятый в сочетании с другими крестьянскими

узаконениями Павла I, во многом предвосхитил эволюцию антикрепостнического законодательства в царствование Александра I и Николая I (вплоть до подготовки самой крестьянской реформы). Не случайно члены Секретного комитета 1826 г. расценивали этот манифест как "коронный" закон по крестьянскому делу. М. М. Сперанский считал его "замечательным для своего времени", полагая, что "в его смысле скрыта целая система постепенного улучшения быта крестьян". Современная историческая мысль признает, что именно от этого павловского манифеста берет свое начало процесс правительственного раскрепощения крестьян в России.

Крестьянский вопрос явился, однако, не единственным, где деятельность Павла I отразилась столь явственным образом. Были и другие важные тенденции в государственном устройстве, внутренней и внешней политике России конца XVIII в., последующему развитию которых павловское правление дало свои плодотворные импульсы, — их значение в полной мере не раскрыто в исторической науке еще и поныне.

И. М. Муравьев-Апостол — старый дипломат павловской эпохи, просвещеннейший и умнейший вельможа, причастный к главнейшим политическим событиям того времени, уже при Александре I говорил своим сыновьям — будущим декабристам "о громадности переворота, совершенного у нас со вступлением Павла 1-го на престол, переворота столь резкого, что его не поймут потомки". Этими пророческими словами мы и завершим наш очерк.